СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

МАЯКОВСКИЙ

И ЕГО СПУТНИКИ

СЕРГЕЙ
СПАССКИЙ

МАЯКОВСКИЙ
И ЕГО СПУТНИКИ

Воспоминания

1940

ЛЕНИНГРАД

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Глава первая

1

Стихов печаталось много. Тифлисская библиотека новых книг достаточно выставляла их на деревянном щите. Многостраничные труды Бальмонта со сплошными потоками рифмованных строк. Брюсов добавлял к тóму тóм, словно медленно воздвигал устойчивое, заранее рассчитанное здание. Появлялись книги Сологуба, одинаково ровные, написанные, казалось, на одну тему. Сборники акмеистов — менее обширные и внушительные. Наконец, многочисленная россыпь — книги авторов, выступавших в первый раз.

Впрочем, имена некоторых впоследствии повторялись и с ними связывались определенные признаки. Становилось известным, например, что Александр Рославлев обрек себя на подражание Брюсову. А Всеволод Курдюмов соседствует с Кузминым и поставляет соответственные стилизации. Но большинство угасало, не вспыхнув, заявив о себе «утонченным» заглавием: «Мерцания», «Голубой ажур», «Чутких

струн тоскующие звоны», «Облетевшие мысли», «Полуночные ветры», «Миражи», «Песни ночи», «Пленные голоса».

Некоторые поэты выступали, главным образом, во всевозможных журналах. Здесь Влад. Ленский, там Яков Годин. Иные кочевали по изданиям, те связывали свою участь с каким-либо определенным еженедельником или ежемесячником. Так, некий «Поэт из деревни» появлялся лишь в приложениях к «Ниве», Алексей Липецкий обслуживал «Всемирную панораму», а бесследно исчезнувший потом Медведков избрал своим постоянным пристанищем «Женский журнал».

Для тех, кого не печатали нигде, все же существовала особая пристань. Известный в ту пору журналист Николай Шебуев выпускал журнальчик «Весна». Там специально публиковал он начинающих, заполняя широкие листы мелко набранными, густо примыкавшими друг к другу стихотворениями. Гонораров Шебуев не платил. Журнал раскупался сотрудниками и их знакомыми. Сам Шебуев в пределах собственного предприятия выступал в качестве бесспорного вождя. Он давал заочные уроки своей неоперившейся армии, обучал поэтов основам метрики. Предлагались курьезные задания — изложить отрывок Гоголя «Чуден Днепр» стихами. То ямбом, то хореем, то амфибрахием. Шебуеву посылались выполненные уроки. Он публиковал их, сопровождая про-

странными рассуждениями. От Гоголя при таких операциях не оставалось и следа.

Здесь говорится о предвоенных годах и об очень молодых моих впечатлениях.

Но из центров попадали не только книги. Иногда приезжали оттуда и сами поэты. Вероятно, в году двенадцатом или тринадцатом афиши возвестили о прибытии Бальмонта. Вернувшись из длительных странствий за границей, Бальмонт приготовил две лекции. Первая называлась «Поэзия, как волшебство», во второй излагал он впечатления от Океании.

Небольшой человек в длинном расстегнутом сюртуке был неуклюж, но подвижен. Казалось, оступится он на полу эстрады, когда вышел он не то прихрамывающий, не то танцующий. Длинные тусклые, чуть рыжеватые волосы свешивались гривой на воротник. Высоколобое, удивительно неправильное лицо, в котором совмещалось что-то львиное с птичьим. Бальмонт присел у стола, вынул листки, набросил пенсне. Не взглянув ни разу на публику, выгнул шею и вздернул голову. «Зеркало поставь перед зеркалом и между ними зажги свечу». Он произнес это очень протяжно и гнусаво, тряхнув волосами и оборвав последний слог. Таково было начало доклада. Дальше следовали соображения о том, как «одна бездонность отразит другую бездонность».

Доклад — полупроза, полустихи — странное мерцание неопределенных, малозначащих слов.

Среди символистов Бальмонт был самым беспомощным теоретиком. Прославление «мгновений», эмоциональных вспышек, влюбленности, восклицания о магической заклинательной силе стиха. Вкусовая оценка каждого звука. («Л» — выражает ласку и влажность.) Элементарное ницшеанство, — поэт стоит «за пределами добра и зла». Прославление «греха», романтические обращения к «дьяволу». Все это извергалось Бальмонтом на слушателей. Рассуждения перемежались стихами. «Красные кони, красные кони», — растягивал Бальмонт слова особенно медленно. И вдруг ускорял темп, будто добегал до заключительной гласной. «Красные кони, кони мои!» Носовое «н» рокотало гитарной струной. Публика сдержанно улыбалась.

Стихи читались и отдельно, после доклада, закончившегося заявлением о том, что именно он, Бальмонт, подхватил золотую или звездную нить, переброшенную от Пушкина к Фету. Между поэтом и аудиторией не образовывалось никакой связи. Бальмонт держал себя так, словно находился в каком-то особом пространстве. И читал не для людей, а для обступивших его видений.

Стремительной, но волочащейся походкой наконец ушел он с эстрады. Слушатели расходятся по домам. «Магия слов» ничего не изменит в их жизни. Посмотрели на Бальмонта, как смотрят на причудливых попугаев. Вечер был скучноват.

2

После Бальмонта приезжал Федор Сологуб с лекцией «Искусство наших дней». Внешне он выглядел проще. Лысая голова, малоподвижное бритое лицо, плотная невысокая фигура. Что-то почтенное, чиновное, размеренное было в этом проповеднике смерти. Он говорил, слегка растягивая слова, мягким, обволакивающим тенором. Читал стихи почти без распева с искусно выработанной, преподносящей каждую букву простотой. Он смаковал гласные, словно наслаждаясь их вкусом. Это чтение, даже вынесенное на эстраду, оставалось чтением для небольшого круга почитателей. Утомленность, как бы многоопытная пресыщенность присутствовали во всем облике поэта. Казалось, сейчас закроет он глаза, остановится, забудет обо всех. Грезящий чиновник, предающийся мечтаниям петербуржец, вежливый и невозмутимый. «Этика родная сестра эстетике», — поучал он плавно и равнодушно. Он рассказывал о пробуждении волевого начала в поэзии. Цитировал Городецкого: «Древний хаос потревожим, мы ведь можем, можем, можем». Затем прочел он свои стихи о России. Плыли фразы медленные и прохладные. «Твержу все те ж четыре слова: какой простор, какая грусть». Застывшая мозаика из гладких камней. Буддийски спокойное лицо поэта.

Но этот вечер заключал в себе острую приправу в виде выводимого в свет Сологубом

Игоря Северянина. Северянину предшествовала некоторая молва. Впрочем, радиус ее действия был ограничен. До широкой публики совсем не доходили маленькие сборники, настойчиво публикуемые Северяниным. Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Федор Сологуб предпослал любезное предисловие.

И все же носились о Северянине смутные слухи. Юродствует. Поет стихи, как кафешантанный куплетист. И связывалось с именем Северянина новое, но уже подхваченное репортерами слово — футуризм. Что обозначает оно, в провинции не понимал еще никто. Мелькнуло известие в газетах о людях с позолоченными носами, явившихся на одну из питерских выставок. К такому сообщению примкнули другие, и все это были вести о скандалах, о молодых людях, устраивавших шумные вечера, обругивавших Пушкина и публику, выплескивавших в первые ряды чай из недопитых стаканов. Вести о раскрашенных физиономиях, о страшных одеяниях этих субъектов. О частых вмешательствах полиции. О том, что дело на некоторых диспутах доходило до драк.

И Северянин примыкал к футуристскому племени, выдавая себя за одного из вожаков. Правда, он вышел нераскрашенный и одетый в благопристойный сюртук. Был аккуратно

приглажен. Удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на определенный отчетливый мотив.

Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Хотя и сами стихи, пересыщенные словообразованиями, вроде прославленного «окалошить», нашпигованные иностранными словечками, а главное, чрезвычайно самоуверенные и заявляющие напрямик о величии и гениальности автора, звучали непривычно и раздражающе. Но вряд ли публика особенно в них вникала, улавливая разве отдельные, наиболее хлесткие фразы. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Все это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, устремленным поверх слушателей, с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы. Некоторые, измученные хохотом, с красными лицами бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слыхал. И страннее всего, что через полтора-два года такая же публика будет слушать те же стихи, так же исполняющиеся, в безмолвном настороженном восторге.

3

Тяга к стихам связывается с тягой к их авторам. Мне хотелось познакомиться с поэтами. Услышать советы, поговорить о своих опытах. Я навязал свое знакомство Сологубу.

Я был тогда в шестом классе гимназии. Писал, подражая символистам. Только что вышел сборник тифлисских литераторов «Поросль», где находились и мои стихи. Заглянув в артистическую после вечера, я увидел, что сборник преподнесен Сологубу.

Дождавшись момента, когда все разошлись, я сбивчиво объяснил, что участвую в альманахе. Просил Сологуба высказаться о моих вещах. Он предложил навестить его на следующее утро.

Сологуб встретил меня невозмутимо. Он уселся в кресло у окна. Закинув ногу на ногу, постукивая каблуком лакированной туфли, некоторое время он рассматривал меня молча. Сборник лежал на столе. Сологуб раскрыл его и посмотрел на стихи.

Свет из окна падал на его желтоватое, неподвижное, пожилое лицо. Сологуб начал говорить о поэзии. Моих стихов он почти не касался. Мимоходом отметил, что одно из них — близкое подражание Вячеславу Иванову. А в другом, воспевающем сказочных принцесс, выражены чувства, вряд ли мною испытанные. И начал объяснять следующее.

Если человеку хочется изложить свои мысли и чему-нибудь научить людей, то стихи можно и не писать. Достаточно ограничиться прозой или заняться публицистикой. Поэт — тот, кому нравится форма стиха, кто любит рифму и ритмическое распределение слов. Так же, как хороший военный не тот, кто вообще готов защищать родину. Но тот, кто в детстве любит играть в солдатики, кому нравится военная форма и парады.

На такую парадоксальную тему Сологуб говорил долго и веско. Это был законченный формалистско-эстетский взгляд на искусство. — Решать вопрос, — продолжал Сологуб, — о способностях другого бесполезно. Пусть сам он, исходя из высказанного, определит, поэт он или нет.

Несколько разочарованный столь безличными высказываниями и фразой вроде того, что «в молодости все пишут стихи», я поблагодарил и простился. Мы пошли через смежный номер. Там находился Северянин.

Он полулежал на диване в старой тужурке, невыспавшийся, с несвежим, опухшим лицом. На столе перед ним — графин водки и тарелка с соленым огурцом. Отрывисто и важно он сообщил, что вскоре выйдет «Громокипящий кубок». Рядом с тарелкой лежали стихи Северянина, перепечатанные на машинке. Мне очень хотелось их прочесть, но я не решился обратиться к Северянину со столь смелой просьбой.

4

Однажды в витрине книжного магазина я увидел странную книжку. Белая плотная обложка. На ней нарисовано слово — «Трое». Ниже косо расставлены три фамилии — Крученых, Хлебников, Гуро. Потом — кубистический приземистый человечек, черный кружок и большая ни к чему не относящаяся запятая. Я приобрел книгу, не медля, и дома основательно ее изучал.

Фамилии — Крученых и Хлебников были уже известны из газет. Кроме них, застряли в памяти имена Бурлюков и Маяковского. Что они написали — неизвестно. По газетным отчетам выходило, что Бурлюки и Маяковский — главные деятели футуризма. О Маяковском было сказано где-то: красивый юноша с бархатным голосом. Желтая кофта была его отличием. Красивый юноша, ругательски разносивший публику.

Я узнал из предисловия к сборнику, что Елена Гуро умерла. О ней упоминалось тепло и внимательно. — Те, кто удивлялись, почему она с нами, не понимали ни ее, ни нас. — Дальше шло творчество троих.

Я исследовал твердые голубоватые страницы, стараясь обнаружить в них особый ускользающий при первом рассмотрении смысл. Большая поэма Хлебникова, начинающаяся словами «Где Волга прянула стрелой на хохот моря молодого». Поэма показалась мне длинной и

скучноватой, не содержащей ничего выдающегося. Полупрозаические, полустихотворные отрывки Гуро походили на пруды с тихой водой. В них отражались деревья и облака несколько причудливо, как это и свойственно при отражении. Отрывки трогательны и задумчивы, но слишком ясны и мягки. Вряд ли в них сущность футуризма. Или футуризм нечто более сложное, чем сообщают о нем репортеры? Даже Крученых с довольно унылой заумью, окруженный такими соседями, выглядел безобидным и ручным.

Книга удивила своим спокойствием, отсутствием боевого духа. Со всем этим можно спорить, но следует ли поднимать такой шум. Действительно футуристичны только иллюстрации Малевича — нагромождения разновеликих кубиков. Угрюмые одноцветные композиции, жестоко похожие одна на другую.

В книге нехватало твердого стержня. Не потому ли, что не участвуют в ней Маяковский и Бурлюки?

Следующий сборник был «Требник троих». Его я принес из библиотеки. Прежде всего там был портрет Маяковского, — набросок, сделанный не то Бурлюком, не то им самим. Молодой человек с закинутыми назад волосами, кстати сказать, одно из самых непохожих изображений. И два-три коротеньких стихотворения. Одно, кажется, кончалось строчками:

«А вы ноктюрн сыграть могли бы — на флейтах водосточных труб». Стихи запомнились мгновенно. Тут нет преувеличения, столь присущего поздним воспоминаниям. После бесконечных повторений символистских образов и тем, какие встречались в множестве книг, в этих стихах была прямолинейная новизна, здоровая, крепкая свежесть. Если б Маяковский потом замолчал, те короткие строки все равно остались бы в сознании. Они не походили ни на что прочитанное, — несколько образов, рельефных и ярко окрашенных. В них чувствовалось то, что называем мы даровитостью, — слово неопределенное, но не требующее доказательств. Такие стихи сразу указывали на возможность новых путей. На то, что уделом искусства может быть повседневная современность и ее можно давать вещественно и богато.

Конечно, я не определял своих впечатлений тогда подобными формулировками, но чувство радости было несомненным. Радость, охватывающая всегда при встрече с новым явлением в искусстве. И присутствие такого материала обязывало. Маяковскому тянуло подражать.

Я тотчас занялся этим, потеряв вкус к прежним образцам. Теперь разыскивал я сборники с Маяковским. И мечтал когда-нибудь послушать его.

5

Но, прежде чем познакомился я с Маяковским, о нем пришлось немало поразговаривать. Мой собеседник был человек осведомленный в футуризме и вместе с тем «враг» Маяковского. Причем, в отличие от обывательской вражды, я столкнулся с оппозицией к Маяковскому «слева». Это сбивало с толку и ставило в тупик. Но в конечном итоге только усиливало к Маяковскому интерес.

В младших классах французский язык преподавал нам некий М. А. Зданевич. Было известно, что у него два сына: один — художник, другой — пишет стихи. Поэт Зданевич кончал гимназию, когда я ее начинал. Встречать мне его не приходилось, да и велика была разница в возрасте. И вот осенью тринадцатого года я узнаю, что молодой Зданевич, петербургский студент, — активный участник футуристского движения. В одном журнальчике я наткнулся на его фотографию с узорами на щеке и вокруг глаз. Сообщалось о прочитанной им лекции, закончившейся крупным скандалом. Приводились отрывки «Манифеста» с призывом к размалевыванию лиц. Его имя связывалось с Н. Гончаровой и М. Ларионовым, известными как художники крайне левые. Ларионов проповедывал тогда «лучизм» — живопись, сложенную из разноцветных штрихов и полосок. Зданевич также теоретизировал на эту тему.

Правда, обнаруживалось из газетных сообщений, что данная группа величает себя не футуристами, а «всеками». «Всечество» объявлялось дальнейшим шагом. Считалось, что и футуризм уже устарел. Разобраться во всем этом трудно. Так или иначе, Зданевич — первоисточник. Живой, обруганный печатью провозвестник новых форм. Он подолгу гостил в Тифлисе. Через его отца я познакомился с ним.

Поэт оказался чрезвычайно низкорослым. К тому же он сильно сутулился. Большая голова, довольно правильные черты лица, пристальные, едкие, отливающие синевой глаза. Был он аккуратно причесан на прямой, точно разделяющий светлокаштановые волосы пробор. Всегда очень строго одет. На всем облике его налет фатовства. Говорил, сильно картавя, резким, уверенным тенором. Фразы отчеканивал категорически, возражения принимал язвительно.

На нем стоит остановиться, чтоб показать всю пестроту тогдашнего «левого» искусства. Едва народившись, оно разбилось на школки, враждовавшие и конкурировавшие между собой. Люди переходили из лагеря в лагерь, иногда кляли друг друга, иногда объединялись. Таков был кратковременный союз Северянина, возглавлявшего «эгофутуризм», с «кубофутуристами» Маяковским и Бурлюком, — союз, закончившийся полным разрывом. Группки и подгруппки пытались одна другую перекри-

чать, привлечь к себе внимание публики. Закон капиталистической конкуренции проявлялся в этой мелкой борьбе. Илья Зданевич числил себя в самых левых и, разумеется, отрицал всех, кроме своих. Это было для него тем удобней, что его группировка состояла из художников. Он, будучи в ней единственным поэтом, не боялся соперничества друзей.

Сидя в кресле, развалившись на тахте или разгуливая по комнате, засунув руки в карманы коротеньких полосатых брюк, похожий на странную заводную куклу, Зданевич любил основательно поговорить. Или на улице, когда выходил он прогуляться, казавшийся еще меньшим, чем в квартире, под серой шляпой, в широком пальто, в карманы которого иногда всовывал он купленные на углу фиалки. Или в восточных кварталах города, в персидском кабачке после острейшего «кябаба», посасывая мундштук кальяна, стеклянная башенка которого была почти такой же высоты, как сам Зданевич, — всюду продолжал он свой ядовитый монолог. Может быть, рад был он, что обрел в Тифлисе слушателя, и ему все равно было кого поучать.

С тех пор я никогда не встречал столь законченного литературного нигилизма. Причем, в отличие от других, Зданевич казался искренним. Футуристы тогда многое отрицали, многих сбрасывали «с парохода современности». Чаще всего это был полемический прием, и тот

же Маяковский в своей среде охотно цитировал классиков. Зданевич же при имени Пушкина кривился. Глубочайшее презрение проступало на выхоленном его, гладко бритом и запудренном лице. Солнце русской поэзии, — картавил он с отвращением. — Это солнце морочения голов. Дальше шло изощренное издевательство. Футуристы доказывали, что Пушкин устарел, что его язык не приспособлен для передачи современных переживаний и состояний. Такую позицию можно было понять. Для Зданевича же Пушкин был преступником, человеком, умышленно запятнавшим искусство. Поймать с поличным, вывести на чистую воду, поставить Пушкина к позорному столбу. До сих пор загадочно для меня, как могло произрасти и развиться столь уродливое, извращенное воззрение.

Расправа с Пушкиным не требовала особых усилий. Зданевич производил ее мимоходом. Все последующее, вплоть до современников, разумеется, отвергалось также. Но предстояла и более животрепещущая задача — разоблачить тех, кого публика представляла соратниками. Обличить их в подделке и трусости, произнести заклеймляющий приговор. С вдохновением призванного следователя Зданевич уличал и обвинял. Маяковский — жалкое подражание Брюсову. Ведь и Брюсов писал урбанистические стихи. Маяковский слегка освежает метафоры, оставляя нетронутым весь строй стиха. Те же

размеры и рифмочки — старые, приевшиеся побрякушки. Стрельба холостыми зарядами. От Маяковского нечего ждать.

Однажды Зданевич вытащил только что вышедшую первую тетрадь стихов Пастернака. Наклоняя близорукое лицо над страницами, Зданевич потирал руки. Меня не проведешь. Перекрашенный символизм — таков был смысл его придирчивых высказываний. Знаю, откуда все украдено. Анненский — источник этих стишков. Устанавливая связь «Близнеца в тучах» с Анненским, Зданевич не был неправ. Но связь им считалась преступной. Тайная связь, и вот она обнаружена. Пастернаку не провести Зданевича. Злостный обман раскрыт.

Только о Хлебникове стоит говорить, но и тот бестолков и расплывчат. Чего стоят его огромные поэмы, его архаика и наивная филология? Товар и тут не вполне доброкачествен. А Северянин — просто навоз.

Разрушать следует беспощадно. Все — и ритм, и прежние принципы рифмовки. Да здравствует заумь, но организованная, а не случайная, какую предлагает Крученых. В чем была положительная программа Зданевича — и теперь я не решусь установить.

Несколько позже, когда началась мировая война, Зданевич читал мне свою новую поэму. Она посвящалась памяти летчика, разбившегося на западном фронте. Стоя у конторки, до крышки которой едва достигал Зданевич лицом, он

произносил, вернее выкаркивал резким тенором полузаумные, частью звукоподражательные фразы. В его чтении вещь производила некоторое впечатление. Это было что-то вроде ритмической прозы с внутренними рифмами и ассонансами. В задачу входило передать рокот моторов, взрывы бомб, треск ружейной перестрелки. Слоги сталкивались, скрежетали и лопались. Вещь была сухой, как скелет. Однако скелет двигался и жестикулировал. «Браво, Гарро!» — картаво выкрикивал Зданевич. Таков был единственный слышанный мною его опыт. Оставлял он неопределенное раздражающее впечатление. Куда двигаться после таких стихов? Неужели только заумь новый путь?

Через много лет, после революции, мне попалась изданная Зданевичем поэма. Или пьеса, сейчас трудно сказать. Читать ее было невозможно. Вереницы бессмысленных, непонятно по каким признакам сцепленных фраз.

Надо сказать, Зданевич был последовательным отрицателем. Именно в этом он себя находил. В первые военные месяцы германские пушки грозили Реймсскому собору. Зданевич ходил именинником. Хорошо, что уничтожают старье. Он, действительно, лично был доволен. Даже готовил он какой-то манифест, приветствовавший подобный акт.

Единственно, что признавал он, кроме себя, — несколько друзей своих, левых художников. Возможно, вообще он поэзию не любил,

отдавая предпочтение живописи. В одну из самых первых наших встреч он стал натаскивать меня на картины Пиросманишвили. Он собирал и скупал по духанам холсты и доски этого прославленного теперь, замечательного мастера Грузии. В ту пору о нем не знал еще никто. Пиросманишвили пропадал в качестве трактирного и вывесочного живописца. Зданевич посылал работы его в Петербург на выставку левых «Трамвай Б». И прочел мне Зданевич свою статью о Пиросманишвили, помещенную в какой-то газете, полную несвойственных автору восторженных утверждений и похвал.

Живописные интересы в доме Зданевичей были, пожалуй, живее литературных. Тому способствовал и приезд брата Кирилла, художника, учившегося в Париже. Кирилл имел какое-то отношение к мастерским Пикассо. Первую настоящую «левую» картину я видел именно у Зданевичей. Называлась она «Танго» — большое оранжевое кубистическое полотно.

6

Ранней весной четырнадцатого года я натолкнулся на «Журнал футуристов». Почти одновременно в городе появились афиши, извещавшие о вечере Маяковского, Каменского и Бурлюка.

Как бы ни ворожил Зданевич, а стихи Маяковского захватывали целиком. «Я сошью себе

желтую кофту из бархата голоса моего». «Послушайте, ведь если звезды зажигают, — значит это кому-нибудь нужно». Все остальное в довольно сумбурной книге отступало на задний план.

А тут еще эта афиша, приводившая своим видом в волнение. Причудливая помесь различных шрифтов, оглушительные тезисы докладов. Наконец-то можно увидеть Маяковского. Поэта, который сказал, например, так:

В ушах оглохших пароходов
Висели серьги якорей.

Василий Каменский приехал раньше других. Я постучался к нему в номер. Каменский жил в гостинице «Палас-отель» на тогдашнем Головинском проспекте. За столом сидел человек с кудрявыми светлыми волосами, пушисто стоявшими над высоким открытым лбом. Перед ним лежал лист бумаги. На листе виднелись крупно выписанные буквы. Около каждой мелко теснились слова. Слова начинались с буквы, поставленной впереди. Каменский решал задачу, не дававшую многим покоя. Подбирая слова на определенную букву, пытался уловить присущий букве постоянный смысл.

О Каменском я знал очень мало. Возможно, потому разговор вышел поверхностным. Каменский показался величественным. Закинув голову, он мне сообщал:

— Футуризм обновит всю культуру. Футуризм не только движение в искусстве. Мы создадим футуристическую науку, новую физику, новую математику.

Он подарил мне пеструю тетрадь, отпечатанную на обороте ярких обоев. «Танго с коровами» — железобетонные поэмы. Авторы — Василий Каменский, Андрей Кравцов.

— Это неинтересно, — сказал Каменский, перелистывая творения неведомого мне Кравцова. И тут же выдрал половину страниц. Так о Кравцове я и не узнал ничего.

Что же касается до железобетонных поэм, то эти причудливо разграфленные листы, являвшиеся как бы планом описываемых в поэмах местностей, со столбиками слов, помещенных в разных графах, предназначались больше для рассматривания, чем для чтения. Для Каменского они были нехарактерны. Он скоро от них отошел.

Прошло несколько дней. Я возвращался из гимназии по проспекту. Маяковский вышел из гостиницы. Я увидел его с противоположного тротуара. Высокий, худой, молодой человек в лимонно-желтой кофте и красной феске. Он подозвал извозчика. К нему подплыл запряженный парой вместительный тифлисский «фаэтон». Прохожие удивленно оглядывались. Маяковский шагнул в экипаж. В усиливающем краски ярком весеннем солнце кофта отливала клейкой желтизной. Экипаж повлек по про-

спекту это веселое зрелище, напоминающее цветочную клумбу. Впечатление мое можно выразить в словах: сон сбывается наяву.

На следующий день я решил к нему пойти. Стукнул в дверь. Раздался голос: «войдите». Маяковский оглядел меня искоса. Я застал его перед уходом. Он расхаживал в жилете по номеру. Бархатный черный жилет, расшитый красными цветами. Он отнесся к моему появлению равнодушно и не задал никаких вопросов. Мне пришлось начать объяснения самому. Я интересуюсь футуризмом и знаю стихи Маяковского. Пишу стихи сам. Маяковский ничего не ответил. Лицо его было серьезно и озабочено. Казалось, он что-то разыскивает. Он вышел, оставив меня одного.

Я находился в небольшой пронизанной солнцем комнате. Я увидел желтую кофту вблизи. Прославленное репортерами одеяние — легкий пиджак с черными шелковыми кантами. Она висела на спинке кровати, и я украдкой потрогал ее. С таким чувством впервые попадают за кулисы театра, в мастерскую, производящую фантастические представления. Мне было пятнадцать лет, и это во многом объясняет мои тогдашние переживания.

Я только что говорил с Маяковским. Если б он не вернулся совсем, я все же ушел бы удовлетворенный.

Но он появился опять. Очень высокий, немного сутулящийся. В номере было тесно для

его размашистых жестов. Попрежнему не замечая моего присутствия, он подошел к умывальнику. Растирая водой крепкие красноватые руки, заявил:

— Читайте стихи.

Маяковский закончил умывание.

— Подождите, — прервал он меня.

Открыв дверь в соседнюю комнату, он позвал Бурлюка.

— Додя, иди послушай. Стихи хорошие. Футуристов знает.

И одобрил манеру чтения.

Насчет стихов Маяковский ошибался. Стихи были слабым подражением его собственным темам. Стихи действительно заключали в себе все признаки раннего футуризма. За эту преданность левой поэтике Маяковский простил все мои недочеты. Читал же я жестоко нараспев и впоследствии сам Маяковский выколачивал из меня эти фокусы. Давид Бурлюк протянул мне руку, любезный и обворожительный. Он был в малиновом тканом сюртуке с перламутровыми пуговицами. Он прикладывал к сильно напудренному лицу маленький дамский лорнет. Вместе с ним вышел Каменский. Сейчас он тоже был в футуристском обличье. Поверх обыденного штатского костюма на плечи накинут черный бархатный плащ с серебряными позументами. Я стоял, словно среди артистов цирка, готовых к выходу на арену.

Стихи мне пришлось повторить.

— Я беру стихи в журнал футуристов, — сразу распорядился Маяковский.

Впрочем, стихи не увидели света, так как начавшаяся вскоре война прекратила журнал.

— А вот это Ивнев прислал.

Вытащив из чемодана рукопись, Маяковский громко прочел:

Будто молоко сквозь пропускную бумагу,
Сочился рассвет через мое окно.
Я зачем-то вспомнил королеву Драгу
И узорчатое морское дно.

Он был весь переполнен движением. Веселая жизненная сила переливалась в его высоком и тонком теле. Угловатые жесты были выразительны и рельефны. Он не примерялся к собеседникам и к обстановке, оставаясь самим собой до конца. Бурлюк сразу же пустился теоретизировать. («У меня на все своя теория», — впоследствии признавался он мне.)

— Читаете ли вы французских поэтов? Надо читать французов для овладения звучностью.

Бурлюк любил рассуждать.

Желтая кофта надета. Поверх нее Маяковский завернулся в вуалевый розовый плащ, усеянный маленькими золотыми звездами. Вместо фески на этот раз появилась фетровая широкая шляпа. Футуристы готовились к очередному проходу по улицам. Надо взбудоражить город. Через день предстоит выступление,

Поэты раскрасили лица гримировальным карандашом.

Мы спустились на Головинский проспект. День полон тепла и солнца. Футуристы продвигались серьезно, словно совершая необходимую работу. Лицо Бурлюкова под черным котелком окаменело от важности. Высоко закинута голова Маяковского. Прохожие расступались перед ними, не зная, как обращаться с подобным явлением. Люди отходили в стороны и потом смотрели в спины идущим.

— Это американцы? Правда? Это американцы приехали? — подскочил ко мне гимназист, увидев, что я простился с поэтами.

7

В театры, на концерты, на лекции учащихся пускали с разрешения начальства. Не уверенный, что инспектор одобрит мои литературные вкусы, я получил у Бурлюка его визитную карточку, чтобы пройти за кулисы. На квадратном куске шероховатого, неровно обрезанного картона оттиснуто убедительным шрифтом без заглавных букв и знаков препинания: «давид давидович бурлюк поэт художник лектор». В назначенный вечер я торопился к театру. Навстречу прошел Маяковский. Он размахивал руками, разгребая толпу напрямик. Маяковского сопровождал гимназист, кажется, его родственник. Маяковский громко разговаривал,

словно проспект был его личной квартирой. Вечерний город удивительно соответствовал его сразу запоминающемуся облику. Охваченный полосами электрического света, Маяковский прогуливался перед выступлением. Это входило в его привычки. Так мне объяснил Бурлюк, когда я добрался до сцены.

За опущенным занавесом на покатом помосте казенного оперного театра стоял длинный стол. На заднем плане большой холст для демонстрации диапозитивов. На столе — веерами пестрые издания футуристов. Сбоку — нотный пюпитр, взятый, очевидно, из оркестра.

Бурлюк обольщал гостей. Это были две маленькие девушки, кажется, дочери персидского консула.

— Настоящие персидские принцессы, — с удовольствием заявлял Бурлюк.

В любом городе в кратчайший срок Бурлюк обзаводился знакомыми. В отличие от Маяковского он обладал поразительной приспособляемостью. Он извлекал нужных людей, заготовлял их впрок для использования. С девушками держался изысканно, томно мурлыкал, поигрывая лорнетом.

Маяковский вломился на сцену в криво заломленной феске.

— Тигр. Это наш тигр! — не преминул восторгнуться Бурлюк.

Я устроился в маленькой служебной ложе, расположенной над самой сценой, за занавесом.

Занавес, громко шумя, двинулся вверх к колосникам. Футуристы сидели за столом. Бурлюк выдержал паузу. Потом он приподнял со стола огромный неизвестно где добытый колокол и, огласив зал его церковным звоном, предоставил Маяковскому слово.

Маяковский швырнул феску на стол. Не оправив сбившиеся, взлохматившиеся волосы, шагнул вбок и остановился перед пюпитром. Он говорил, раскачиваясь всем телом. Его голос широко разлился по залу.

— Милостивые государыни и милостивые государи. Вы пришли сюда ради скандала. Предупреждаю, скандала не будет.

Его рука придавила пюпитр, толкала и мяла его. Маяковскому присуща была природная театральность, естественная убедительность жестов. Вот так, ярко освещенный, выставленный под перекрестное внимание зрителей, он был удивительно на месте. Он по праву распоряжался на сцене, без всякой позы, без малейшего усилия. Он не искал слов и не спотыкался о фразы. В то же время его речь не была замысловатой постройкой, образованной из контрастов, отступлений, искусных понижений и подъемов, какую воздвигают опытные профессиональные ораторы. Эта речь не являлась монологом. Маяковский разговаривал с публикой. Он готов принимать в ответ реплики и обрушивать на них возражения. Такой разговор не мог развиваться по строгому предва-

рительному плану. В зависимости от состава слушателей направлялся он в ту или иную сторону. Это был непрерывный диспут, даже если возражения не поступали. Маяковский спорил с противником, хотя бы и не обнаружившим себя явно, расплющивая его своими доводами.

И, собственно, не в доводах суть, а в ярком одушевлении и убежденности.

Содержание его слов было достаточно простым и обозримым. Оно изложено в соответствующих манифестах, и нет нужды его воспроизводить. Там утверждалось городское искусство, обогащенное восприятием скорости. Мимоходом громились классики. В этих местах в невидимом мне зале вспыхивал испуганный смех. Маяковский представлял публике поэтов — Хлебникова, Бурлюка, Северянина.

— Вы можете не заметить на улице меня, вы пройдете мимо любого из нас, но если над городом зарокочет аэроплан, вы остановитесь и поднимете головы.

Так говорил он о Каменском, рекламируя его звание летчика.

Его речь опиралась на образы, на сравнения, неожиданные и меткие. И все-таки, изложенная на бумаге, она утратила бы половину энергии. Сейчас ее поднимал и укреплял горячий, мощный, нападающий голос. Голос принимался без возражений, и даже смешки в рядах были редки. Даже самые враждебно настроенные или равнодушные подчинялись этой играющей

звуками волне. Особенно, когда речь Маяковского, сама по себе ритмичная, естественно переходила в стихи.

Он поднимал перед аудиторией стихотворные образцы, знакомя слушателей с новой поэзией. То торжественно, то трогательно, то широко растягивая по гласным слова, то сплющивая их в твердые формы и ударяя ими по залу, произносил он стихотворные фразы. Он двигался внутри ритма плавно и просторно, намечая его границы повышением и соскальзыванием голоса, и, вдруг отбрасывая напевность, подавал строки разговорными интонациями. В тот вечер он читал «Тиану» Северянина, придавая этой пустяковой пьесе окраску трагедии. И вообще, непонятный, ни на чем не обоснованный, опровергаемый его молодостью, его удачливой смелостью, но все же явно ощутимый трагизм пронизывал всего Маяковского. И, может, это и выделяло его из всех. И так привлекало к нему.

И когда его речь доходила до стихов, зал становился совершенно неподвижным.

Он прочел «Смехачей» Хлебникова и затем много своего. В его чтении заключалась еще одна особенность. Чтение доставляло ему самому удовольствие. Читая стихи, Маяковский выражал себя наиболее полным и достойным образом. Вместе с тем это не было чтением для себя. Маяковский читал для других, совершенно открыто и демократично, словно распахи-

вая ворота и приглашая всех войти внутрь стиха.

— Я знаю, когда я кончу, вы будете мне аплодировать.

И действительно, после заключительной фразы грохотом хлопков ответил зал Маяковскому.

Следующим выступал Василий Каменский. В те времена он еще не развернулся. В крупного чтеца он превратился впоследствии. Читал свое и Бурлюк.

Второе отделение заполнилось докладом Бурлюка о новых течениях в живописи. Обстоятельное и блестящее сообщение, вскрывающее мастерство Сезана, Гогена, Матисса и Пикассо. На сцене выключен свет, на полотне при помощи волшебного фонаря воспроизводятся снимки с картин. Чтобы поддразнить публику, Бурлюк умышленно спутал одну из рафаэлевских мадонн с рекламной журнальной фотографией. В остальном лекция была веской и добросовестной. Бурлюк — острый, находчивый докладчик-педагог. С упорством подлинного просветителя внедрял он в слушателей полезные сведения.

— Хорошо читал, Додя, — одобрил потом Маяковский.

Мы прощались, чтобы встретиться через несколько лет. Бурлюк давал мне советы. Дело касалось области рифм. «Стекол — около» — это звучит. Главное во всем — новизна.

Маяковский занялся персианками. Сурово посверкивая глазами, он наклонялся над крохотными девушками. «Как ангел небесный, прекрасна, как демон, коварна и зла», — гудел он над их головами.

— Я Лермонтова понял в Тифлисе.

Девушки делали вид, что это их не касается.

Глава вторая

1

«Облако» я приобрел в Москве осенью пятнадцатого года. Маленькая брошюра в оранжевом переплете. Текст изрезан военной цензурой, оставившей между строф пустые окна.

Война не касалась меня непосредственно. Я поступил в университет. Возрастом и льготами, предоставленными студенчеству, я до времени был огражден от призыва. Но война остановилась вокруг. Она приобрела невыносимую неподвижность, тяготила полной своей безвыходностью. Ей не предвиделось конца. Она словно затвердела, отыскав безразличное, ненарушаемое равновесие. Однообразные сообщения о мелких повседневных стычках. Списки убитых, набранные петитом. Списки награжденных. Крепнущая день ото дня разруха.

Поэзия жила приглушенно, как бы в полусознательном состоянии. Поток шовинистических строк в угодливых газетах и журналах.

Как же дышит настоящее искусство? Чем освещает оно окружающее? На каких условиях мирится с ним, каким оружием борется?

Поэзия жила замкнуто, разделенная на иерархические круги. Мэтры не выступали публично. Общаться с ними не представлялось возможным.

В Москве державно господствовал Брюсов. Бальмонт мелькал падучей звездой. След Белого затерялся на Западе.

Сейчас молодой автор смело идет в любую редакцию. Его встречают секторы начинающих в издательствах и литературных организациях. Каждый зрелый писатель охотно берет шефство над младшим. Для всякого советского журнала — дело чести выдвинуть новое имя. Не говоря уже о многочисленных кружках, производящих первоначальный отбор, прививающих первые навыки к литературной работе.

Тогда начинающий был предоставлен сам себе. Как приблизиться к литературной среде? Где, собственно, обретаются поэты? Вдобавок такие, с которыми можно посовестоваться и объединиться.

Мне пришлось случайно попасть в «Свободную эстетику», литературно-художественную организацию, возглавляемую Брюсовым. Выступала главная плеяда московских писателей. Вечер был полузакрытый. Платный, но без афиш. Билеты распределялись между сравнительно

близкими. Среди присутствующих я не знал почти никого.

В освещенных удобно обставленных комнатах циркулировали вежливые людские течения. Черные сукна мужчин охватывали минерально-твердую белизну их рубашек. Впечатление светлой серебристости оставалось от душистых туалетов дам. Здесь разговаривали негромко и сдержанно, и смешанный шорох слов поднимался к лепным потолкам.

В этом помещении некогда разыгрывались литературные бури. Символисты завоевывали признание. Теперь добротная, холеная тишина. В длинном зале, окрашенном, помнится, в мягкий кремовый цвет, где по стенам — портреты работы Серова, люди рассаживались перед строгой эстрадой с кафедрой и маленьким столиком. Молчание образовалось раньше, чем появился первый выступавший. В это почтительно заготовленное молчание вступил поэт Балтрушайтис. Высокий, светловолосый и неподвижный. Усевшись за столик, глухо и величаво он преподнес холодные, ровные стихи.

Затем вышел Вячеслав Иванов и предложил какие-то варианты на начало «Слова о полку Игореве».

Я следил за золотыми искорками его пенсне, которое он сдергивал временами с круглого розоватого лица в редком венце седины и протягивал вперед публике. При его довольно плотной, хотя и горбящейся фигуре неожиданным

казался тоненький голос. Ему в меру похлопали, как, впрочем, и всем остальным.

Выступали также и прозаики: Алексей Толстой и Борис Зайцев.

Еще во время чтения одного из рассказов Брюсов вдруг выглянул из-за кулис. Угловато нагнулся и скрылся, запечатлевшись в памяти скуластым желтым лицом. После прозы настала его очередь. Он стоял возле кафедры, опершись об нее правой рукой. Его тело было чуть скошено. Сюртук на нем — как твердый футляр. На деревянном, грубо вырезанном лице, как приклеенные, темнели усы, бородка и брови. С механической точностью он рубил воздух короткими ударами левой руки. Стихи, докладываемые им, назывались «Ultima Thule». Они строились на сквозной однозвучной рифмовке. В них шла речь о пустынном заброшенном острове. Они ничем не обогащали уверенное огнеупорное мастерство поэта. И все же Брюсов производил впечатление.

Он был кровно родствен всей этой чинной, начитанной и благополучной среде. И, однако, он всем им чужой. Он, в сущности, должен пугать всех собравшихся — и беспощадной деловитостью хирурга, расчленяющего слова, предъявляющего звуки, как связку сухопостукивающих обнаженных костей, и в то же время странным жаром спрессованной, консервированной страсти, дисциплинированно клокочущей

в его картавом, словно ничем не окрашенном голосе.

И все-таки и этот человек, так жадно стремившийся быть современным, всегда выискивавший новые виды литературы, неиспользованные формы и имена, пытавшийся соединить пирамиды и фабрики и на основании формул алхимии, смешанных с вычислениями Эйнштейна, построить макет современной души и сейчас раньше других бросившийся объезжать западный фронт, чтобы впоследствии с проницательной стремительностью раньше многих войти в ряды революции, — он теперь только берег свое состоятельное прошлое и не мог извлечь из себя мысли, объясняющей и себе и другим содержание данного дня. Он, владеющий неисчислимым запасом названий, по очереди прикладывал их к действительности. Но его обозначения отскакивали от событий, ломались при соприкосновении с ними. И Брюсов стоял, словно не на эстраде, а на том безжизненном острове, о природе которого так точно сейчас сам сообщал. Так должно было с ним продолжаться до тех пор, пока современность сама не назвала себя собственным именем, и ему, неустанному изобретателю определений, на этот раз пришлось покорно это имя принять и добросовестно подтвердить его подлинность.

Брюсов ушел. Пианист Гольденвейзер, сменивший чтецов, осторожно извлекал из клавиатуры стеклянные дребезги Скрябина

В «Эстетике» не вздохнешь свободно. В лучшем случае — это специальный художественный университет. И, надо отдать справедливость, скучноватый.

Вот вечер, посвященный Верхарну. Жена Брюсова читает свой перевод Верхарновской статьи. Статья толкует о фламандской живописи. У стола президиума студент, племянник Брюсова. К нему тоже все относятся с уважением. Поэт предлагает вниманию аудитории посвященный Верхарну сонет. Поэт — из молодых кадров «Эстетики». Но эти кадры, казалось, состояли из преждевременных хорошо одетых старичков. Они ловко упражнялись в стихосложении, оставаясь второсортными подражателями старших. После доклада вежливые вопросы и замечания. Присутствующие знают все обо всем.

С высот «Эстетики» в тогдашней Москве нисходила система кружков. Множество группочек и объединений, часто возникавших по случайному поводу. Иногда дело было в подходящем помещении, привлекавшем знакомых сочленов. Бывало, встречи тянулись из года в год, став бытовой привычкой. О некоторых кружках знали только их участники. В большинстве случаев они нигде не печатались. Совместно мечтали о коллективном сборнике. Подчас такая мечта осуществлялась. Еще одна книжечка попадала в магазины, взятая на ко-

миссию, и лежала, пылясь, среди прочих. В каждом кружке был собственный вождь, удовлетворявшийся комнатным почитанием. Глубоко частные, лишенные и чуждавшиеся общественного сочувствия, такие организации встречали недоверчиво новое лицо.

В Москве не было ни Маяковского, ни Бурлюка. Я пустился странствовать по кружкам.

Вот один из них на Сивцевом Вражке. Хозяин — студент, недавно женившийся, владелец отдельной квартиры. День собраний был постоянный. Раз в неделю гости входили в просторную столовую. Белая скатерть чисто сверкала. У каждого прибора — листок бумаги и папиросы. Стаканы налиты, начинался доклад. Доклады были обязательной частью вечера, читались по очереди, касались вполне устоявшихся тем. Творчество Михаила Кузмина, обсуждение стихов Иннокентия Анненского. Иногда реферат о театре. Или о каком-нибудь художнике. Никакой последовательности в чередовании сообщений. Каждый выбирал себе тему по вкусу. Слушали, делали заметки, пили чай.

Прения стояли на уровне ученической добросовестности. С завидной старательностью и очень «культурно» исследовалось то, что давно известно и решено.

Хозяин подходил к стене и зажигал свечи, вставленные в бра. Тушил электричество, воцарялся желтоватый полумрак. К настенному

зеркалу, смутно блестевшему между бра, приближался кто-нибудь из присутствующих. Тихим голосом, заглядывая в записную книжку, прочитывал он новые стихи. Если это был сам хозяин, то дарил он очередным сонетом:

Не так ли воплощал святой Флобер
Свои великолепные созданья.

Фразы падали сухие и безжизненные, без образов, без неожиданностей, без находок.

Другой поэт сильно заикался. Маленький, скромный фанатик, никогда не напечатавший ни строки. С печатанием связано слишком много волнений, признавался он, кивая добрым серьезным лицом. С трудом шевеля тяжело двигающейся челюстью, выталкивал он спотыкающиеся строчки. О соловье, распевающем в клетке, закутанной в черный шелк. «В ночи искусственной своей». Или триолет по поводу окончания трамвайной забастовки, взбудоражившей в ту осень Москву. Впрочем, триолет не имел отношения к политике. Шла речь о голубоватой электрической вспышке, взлетевшей над трамвайной дугой.

Главным лицом был круглолицый, розовощекий символист, говоривший чрезвычайно быстро и сбивчиво. Он имел какое-то отношение к издательству «Мусагет» и, следовательно, соприкасался с небожителями. Сам Брюсов просматривал его стихи. Отчеркнув одну строчку синим карандашом, Брюсов пометил на полях: «хо-

рошо». Это было надежным дипломом. Легендой, передававшейся из уст в уста.

Помимо нескольких совсем неопределившихся лиц, из которых, впрочем, впоследствии выросли один настоящий поэт и один даровитый актер и режиссер, сюда забегали две причудливых фигуры. Два брата, оба пишут стихи, оба—студенты, оба сильно длинноволосы. Младший—неопрятен и лохмат, старший—аккуратно причесан. Младший вламывается в любой разговор и, тряся всклокоченной шерстью волос, воет стихи под Бальмонта. Старший не менее назойлив, но читает, томно полузакрыв глаза, о том, как «поблескивают сталактиты» в некой неведомой пещере. Оба графоманы и сплетники Их терпят за последнее качество.

Они знают всю подноготную о жизни крупных поэтов. Носятся из кружка в кружок, представляя собою устную сенсационную литературную газету. Брюсова они прямо выслеживают, сладострастно разбалтывая всем, что он сегодня ест и пьет. Если Брюсов пошел на каток, братья мчатся с известием по всем знакомым. Вероятно, они врут напропалую, эти въедчивые литературные приживалки. Их нельзя не принять, — они вползут в любое сборище литераторов. Они создают другим крохотную известность своими яростно работающими языками. За это их кормят, даже ухаживают за ними, и они нагло претендуют на внимание.

Стихи прочитаны, раздалось несколько замечаний с погруженных в сумрак диванов и кресел. Все прощаются, чтобы встретиться через неделю. Возвращаются домой московскими уснувшими переулками. На свете происходит война. Ряды войск угрюмо шагают сквозь город к Виндавскому вокзалу. Гул орудий не докатывается до Москвы. Поэты желают друг другу всего хорошего. Они довольны своими соседями и собой.

3

Другой кружок, в противоположность описанному, был беспорядочен и стихиен. Проходной двор, гостиница, открытая всем. Квартира в московском «небоскребе», что и сейчас торчит, как зуб, в Большом Гнездниковском. Хозяин квартирки, Василий Васильевич, давно умер от туберкулеза. Слабохарактерный и трогательный человек, днем он где-то преподавал литературу. В остальное время не принадлежал он себе. Изолированное, двухкомнатное его жилье находится недалеко от центра. Всякому удобно забежать туда по пути, подняться на лифте в один из верхних этажей. Поваляться на низкой тахте, отдохнуть, воспользоваться телефоном.

Василий Васильевич сам пробовал писать. Со стихами дело не клеилось. У него достаточно вкуса, чтоб отдать себе в этом отчет. Стихи никому он не показывает, разве приятелю

с глазу на глаз. Впрочем, он поставил на них крест и переживает чужие успехи и интересы.

Поэты сваливаются к нему беспрестанно. Однако все же выделен день, когда сборища считаются законными. Сюда стягиваются совсем юные стихотворцы. Но и здесь имеется свой вождь.

Вождь — сухопарое существо, старше прочих, с острой бородкой, с длинными волосами. Одевался он — как по форме. Бархатная куртка, широкополая черная шляпа. Курит трубку и важно молчит. Это поэт, издавший книгу «Черное кружево». Скоро выйдет второй его труд. Мрачные изысканные стихи под названием «Серебряные паникадила». На друзей Василию Васильевичу не везло. Второй достопримечательностью был такой посетитель. Маленький человечек с тусклым приказчичьим лицом. Вид невзрачный, если не считать черной крылатки, в какую завертывался он в подходящий сезон. Заглавие изданной им книги было просто: «Хохочи, демон зла». На обложке — фигура Мефистофеля. Безграмотные стихи с обилием восклицательных знаков. Заявления о собственной гениальности, после Северянина утратившие остроту.

Эти люди, неизвестно где разысканные Василием Васильевичем, пытались задавать тон. Но случайно к Василию Васильевичу забрела футуреющая молодежь. Оба гения были низложены и с тех пор прятались по углам. Имя

Маяковского явилось как бы заклятием, обезоружившим и повергшим их ниц. Безыменные, яростные футуристы превратили жилье Василия Васильевича в свой штаб. Притащили они и сравнительно старших — Шершеневича и приехавшего в Москву Асеева. Стали захаживать художники. Появилась массивная фигура Татлина, о котором стало известно, что он строит свои произведения из железа, стекла и проволоки. Устраивались внезапные доклады, стихи читались бессистемно, но горячо. Хозяин не вмешивался ни во что. Подчас гости и вовсе не знали, кто владелец квартиры. Сами кипятили чай на удобной газовой плитке. Притаскивали к чаю закуски с лежащей глубоко внизу Тверской. И устав от криков и чтений, выбирались на крышу дома.

Впоследствии, в нэповский период, на этой крыше существовало кафе. В годы войны крыша пустовала. Занесенная снегом плоская палуба, обведенная перилами по краям. Одна из самых высоких точек прежней Москвы. Ночь катилась над зимним городом, свежий ветер скользил по лицу. Огоньки Москвы далеко раскинулись вокруг. Глухо переливался шум города. Темное, ребристое море других, более низких крыш. Расселины улиц, отмеченные редкими цепочками фонарей. Удивительно спокойно было постаивать здесь, тихо переговариваясь со спутниками. И все же нет-нет — и проснется тревога. Кажется, если очень прислу-

шаться, из-за горизонта докатится рокот орудий. Война. Неизбежно поджидающая всех участь. Кто на очереди? Кто уйдет туда прежде других?

4

Квартира Василия Васильевича — удобное место общения. Но самые живые разговоры безнадежны, если нельзя ни печататься, ни выступать. Литературная жизнь начинается с опубликованной строчки, скрепленной фамилией автора. Куда толкнуться, с чего начинать? О толстых журналах — смешно мечтать. Там находят пристанище «имена». Иллюстрированные еженедельники тоже окружены постоянными поставщиками поэзии. И требуют они шовинистических виршей, на которые не у всякого поднимется рука. Газеты не заинтересованы в стихах. И вся периодика в целом враждебна к футуристской продукции.

В общем заколдованный круг.

Были, правда, левые издательства, вернее, несколько скромных объединений, существовавших на добровольные взносы или на подачки состоятельных людей. Но и они захирели с войной, когда вздорожали бумага и типографии. Приостановился «Мезонин поэзии» — издательство московских эгофутуристов. «Центрифуга» выпустила альманах и одну-две книжки стихов. Появился сборничек некоего издательства «Пета», основанного купчиком Федором Плато-

вым. А дальше этот Платов, владевший кинематографом на Таганке, принялся печатать только себя. Был он унылым графоманом. Выпускал тетради высокопарных афоризмов. По-библейски озаглавливал их «Послания от Федора Платова».

Обнаружился и еще поэт-делец из коммерческих московских кругов. Самуил Вермель, писавший стихи в несколько строк по образцу японских «танок». Он сколотил большой альманах, называвшийся «Московские мастера». Это предприятие, как и большинство ему подобных, зависело от воли того, кто давал на издание деньги. Всюду та же кружковщина и групповщина, стремление выскочить, покрасоваться и покомандовать. И, конечно, очень мало охоты поддержать начинающего поэта.

Так, вождь «Мезонина поэзии» любил разыгрывать из себя футуристского Брюсова. Сам еще достаточно молодой, он совмещал в своем облике денди и эрудита. Он приглашал в определенные часы в свой, обставленный по-профессорски, кабинет. Скрестив руки, покачивая длинным лицом, он читал отпечатанные на машинке строки. Правильный пробор, искусственный цветок в петлице, вождь чувствовал себя все время словно перед зеркалом. Жестоко подражавший Маяковскому, он боялся его и ненавидел. Всячески старался себя противопоставить Маяковскому, щеголяя своим знанием французских поэтов и Маринетти. Хронологии

он придерживался особой: «Это было тогда, когда я написал «луна, как ссадина на коже мулатки». От собеседника требовалось почтение и должное удивление перед остроумием мэтра.

Идейный руководитель «Центрифуги» попросту ненавидел молодежь. Сам неудавшийся стихотворец, он избрал своей профессией желчность. Молодых он «уничтожал» с усердием, достойным царя Ирода. «Слишком много развелось футуреющих мальчиков», — высказывался он напрямик. С искривленным лицом, держась за щеку, словно у него болят зубы, вгрызался он в прочитанные ему стихи. Оглушить, облить едкой кислотой, заставить человека разувериться в своих силах. Вероятно, он воспретил бы поэзию, если б это было в его возможностях.

Таким образом, даже в «левых» кругах молодому поэту нельзя было рассчитывать на внимание. В лучшем случае его терпели как ученика, покорно принимающего хозяйские щелчки. Подобное отношение со стороны старших соратников особенно удивляло после знакомства с Маяковским.

Вот почему с особенным интересом молодежь относилась еще к одному кружку. Он отличался от прочих тем, что объединялся вокруг настоящего журнала. Правда, журнал в ту пору не выходил, но поговаривали об его возобновлении. Журнал, целиком опиравшийся на молодые силы, весьма незаметный, называвшийся «Млечный путь».

Мне показывали широкие аккуратные тетради, украшенные рисунками и переполненные стихами. Под стихами — множество имен, которые ни в ту пору, ни теперь не сказали бы читателю ничего. Большинство стихов были чистенькими и ровными, словно выведенными блеклыми красками. И, однако, журнал не был пошл. Любовный вкус чувствовался в отборе таких акварелей. Грамотная и добрая рука занималась их окантовкой. Собирателем этих коллекций был редактор и издатель журнала. Звали его Алексеем Михайловичем. Происходил он из купеческой среды, но, судя по журналу, вряд ли отличался коммерческой хваткой. Жил скромно, в небольшой квартирке в Замоскворечье. Неразговорчивый, по-своему упрямый, несомненно урезывал он семейный бюджет ради гиблого литературного предприятия.

Сам писал он тихие стихотворения фетовского или даже фофановского склада. Но оказался он широким в своих вкусах к немалой тревоге окружавших его друзей. Не боясь нарушить свой лирический замоскворецкий уют, начал присматриваться он к молодым беспризорным футуристам. Притянутые в его квартиру через общих знакомых, молодые почитатели Маяковского почувствовали себя там как дома. Алексей Михайлович понимал нужды гостей и угощал их не деликатесами, а множеством добротных бутербродов. Тактичный, внешне застенчивый и внимательный, он вы-

слушивал громоносные, подчас очень резкие строки. Постепенно выяснилось, что он действительно собирается снова выкинуть деньги на ветер. Журнал предположено возобновить. И в нем первые места отведены для новых беспокойных пришельцев.

Два номера вышли в свет весною шестнадцатого года. Пестр подбор их участников. Имена их не вошли в литературу. Странное сборище несостоявшихся писателей. Некоторые погибли потом на фронте. Некоторые бросили литературу совсем. Журнал выглядит литературным кладбищем. И все же о нем стоит упомянуть.

Наряду с «акварелями», «райскими плодами», «горными утрами» там находятся несколько вещей, написанных в манере Маяковского. Влияние Маяковского чувствуется не только на стихах, но, что неожиданно для того времени, и на прозе. На рассказах, перенасыщенных городскими сравнениями, составленных из необычно построенных фраз. Журнал — вещественное доказательство основательного воздействия раннего Маяковского на молодежь.

Воздействие это было огромным. «Облако» нельзя было отменить. Несмотря на твердыню «свободной эстетики», на недоверие к Маяковскому в мелких кружках и группах, на сопротивление больших и малых «мэтров», наконец, несмотря на враждебность многих завидовавших Маяковскому соратников и «друзей», «Облако» излучало из себя энергию, отбирало

и перестраивало людей. Поэма была во всех своих элементах манифестом нового искусства. И будучи его развернутой программой, вместе с тем она являлась и реальным его образцом. Она учила иначе видеть, иначе сопоставлять впечатления. Она вводила в поэзию новый материал, повседневный, городской, «низменный». Она насыщена была конкретными метафорами — динамическими, вещественными, объемными. Образность в духе Маяковского стала надолго обязательной для поэзии. Но пользование образами было бы беспредметной игрой (как впоследствии в бесталанных руках имажинистов), если б сквозь яркую форму не просвечивало новое понимание мира. В центре бешено сменяющихся явлений стоял живой обыкновенный человек. Каждое свойство его признавалось драгоценным и важным. Крайний урбанист, Маяковский не распластался перед машиной и городом. «Мельчайшая пылинка живого — важнее всего, что я сделаю и сделал». Вдобавок «человек», входящий с Маяковским в искусство, не был отвлеченным «всечеловеком» символизма. Это — человек социальных низов, отрицающий буржуазный уклад. В пределах «Облака» склонный еще к анархизму, но высоко поднявший свои четыре «долой». Выступивший против прежних форм любви, искусства, против религии и государства.

Поэма воспринималась не только как замеча-

тельный факт искусства, но и, действительно, как голос некоего «тринадцатого апостола», проповедывающего борьбу на баррикадах и близкую, неминуемую революцию. «Облако» делило людей на два непримиримых лагеря. За поэму или против нее, — так стоял тогда вопрос среди молодых.

Был вечер поэтов-студентов в огромной богословской аудитории Московского университета. Расположенные амфитеатром скамьи загрузились сверх всякой меры. Выступали поэты, записывавшиеся тут же. Предварительной программы не существовало. Выступало человек пятьдесят, а сотни слушателей тоже были поэтами. Вечер проходил чрезвычайно шумно. Шел бой из-за Маяковского. Сторонники Маяковского, о которых ему самому не пришлось, вероятно, даже и услышать, взбирались на кафедру, выкрикивали стихи, скроенные из материалов «Облака». Свистки, хохот, рев сочувственных голосов. Читались произведения, непосредственно посвященные Маяковскому. На иных из его почитателей пестрели цветные кофты. Те, кто принял Маяковского, мгновенно становились друзьями. Люди знакомились, произнося вместо фамилий цитаты из «Облака». Фразы Маяковского раздавались в коридорах. И когда выше я упоминал о левой поэтической молодежи, я имел в виду именно тех, для которых Маяковский тогда был единственным вождем.

Глава третья

Но где же сам Маяковский? В Петрограде, служит в автомобильной роте. Недавно выступил в «Бродячей собаке» с ругательскими стихами против тыловых спекулянтов. Крупный скандал, кажется, вмешательство полиции. Стихи докатились до нас.

Вообще ж выступать ему нельзя.

Попадались его стихотворения в «Сатириконе». Дошли слухи о новой поэме «Война и мир». Поэма, направленная против войны. Если б услышать ее!

В феврале шестнадцатого года я впервые выехал в Питер. Я чувствовал себя негласным делегатом от всех почитателей Маяковского.

Вот и Петроград. Длинный путь от вокзала в трамвае, привезшем меня на Зверинскую улицу, где я остановился у знакомых студентов. Серый мглистый денек. Неведомые просторные проспекты. Но изучать город мне не хотелось. Я едва разобрался в главных маги-

стралях, сонно воспринял широкую протяженную ложбину придавленной снегом Невы. Не удосужился зайти в Эрмитаж, прошел мимо прославленных театров. Заглянул только почему-то на отчетную выставку Академии художеств, подавившую унылым подбором жанровых сцен и исторических картин. Странно признаться, но даже Медного всадника я приметил только из трамвая с противоположного берега. Я по-дикарски обошелся с городом, но не ради города я приехал. Мне хотелось повидать Маяковского. Его адрес я выяснил в Москве.

Разыскал я его на Надеждинской. Он жил в довольно просторной комнате, обставленной безразлично и просто. Комната имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая аккуратная мебель, безотносительная к хозяину. Диван, в простенке между окнами — письменный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей — этих признаков оседлого писательства.

Но так и должно это выглядеть. Маяковский «писал» в голове. Готовые стихи переносились на бумагу. Это не значит, что он добывал их легко. Отбор слов, их пригонка друг к другу осуществлялись с необходимыми трудностями. Но фразы отрабатывались голосом, перетирались одна о другую, когда бродил он взад и вперед, невнятно бормоча их про себя. Ритм стихов был ритмом его походки. И от такой непри-

крепленности творчества к месту, времени, бумаге, столу Маяковский никогда не казался отдыхающим, свободным от своей жестокой повинности. Он нисколько не удивился моему появлению, будто мы расстались вчера. Предложил сесть на диван. Не прервал дела, которым был занят. Он стоял перед наколотым на стену листом плотной бумаги и раскрашивал какой-то ветвистый чертеж. Это входило в его военные обязанности — поставлять для отряда графики и диаграммы. Вглядываясь в рисунок и прикасаясь кистью к листу, Маяковский вел разговор.

Он выглядел возмужавшим и суровым. Пропала мальчишеская разбросанность движений. Он двигался на ограниченном пространстве, отступая и приближаясь к стене.

Одет он был на штатский лад — серая рубашка без пиджака. Чтоб избегнуть надоедавшего козыряния, он разрешал себе такую вольность и на улицах. Но волосы сняты под машинку, и выступила крепкая лепка лица. Он разжевывал папиросу за папиросой, перекатывая их в углу рта.

Что делается сейчас в Москве? Это интересовало его в первую очередь. Я докладывал о московских общих знакомых. Появилась ли способная молодежь? Он проверял поэтические ряды.

Я отчитывался в собственных стихах. Маяковский немногословно оценивал. Беседа шла

деловито. Я спросил его о «Войне и мире». Негромко, продолжая работать, без лишних слов, он начал читать:

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь —
зрелище величайшего театра?
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Маяковский словно рассказывал. Была новая для него величавость в этом приглушенном комнатном чтении.

Чтение почти подпольное, чтение вещи, на опубликование которой нельзя рассчитывать в данное время, чтение стихов, заготовляемых впрок, требующих для своего обнародования изменения социальных условий и все-таки осуществляемых Маяковским в полной уверенности, что стихи пригодятся. Скоро он прервал себя и взял белую тетрадь с подоконника. На глянцевом твердом картоне черной краской фамилия — Маяковский.

Он надписал мне «Флейту-позвоночник», только что вышедшую и не добравшуюся еще до Москвы. Тут же сказал он, что бывает у Горького. Со сдержанной гордостью заметил, что Горькому нравятся его стихи. Затем предложил итти вместе.

— Поведу вас к моим друзьям.

Несколько раз я провожал его в тот приезд. В мягкой шляпе, в темном демисезонном пальто, опасаясь встретить военное начальство, Маяковский шагал, чуть сутулясь, не смотря ни на прохожих, ни на дома. Он шел как во враждебном лагере, где все недоброжелательно и опасно. Глядел исподлобья на город, наполненный офицерскими шинелями, тусклым блеском чиновничьих пуговиц.

Мы забежали в редакцию «Сатирикона». Маяковский сунул мне свежий номер со стихами, начинавшимися так:

Мокрая, будто ее облизали,
Толпа.
Воздух прокисший плесенью веет.
Эй, Россия, нельзя ли
Чего поновее?

— Печататься можно везде, — объяснил он, — если заставишь редакцию считаться с собой.

Мы пришли на Жуковскую к Брикам.

— Вот, Спасского привел, — объявил, вталкивая меня, Маяковский.

Две маленькие нарядные комнатки. Быстрый, худенький Осип Максимович. Лиля Юрьевна, улыбающаяся огромными золотистыми глазами. Здесь было все просто и уютно. Так показалось мне, может оттого, что и сам Маяковский становился тут домашним и мягким. Здесь он выглядел словно в отпуску от военных и поэти-

ческих обязательств. С трудом поворачиваясь среди тесно поставленной мебели, он устраивался на диване или в креслах. Его голос глухо журчал, невпопад внедряясь в беседу. Он пошучивал свойственным ему образом, громоздко, но неожиданно и смешно. Подсаживался к широкому бумажному листу, растянутому на стене, испещренному остротами, замечаниями и рисунками посетителей, и вносил в эту первую, вероятно, в природе «стенгазету» очередной каламбур. Здесь он обычно обедал. Здесь было его первое издательство. В издательской области хозяйничал Брик. Он мгновенно засыпал меня вопросами. Мне пришлось в более распространенном виде повторить сведения, переданные уже Маяковскому. Брик перетряхивал все новости, как бы производя им точный подсчет. Что успели приготовить поэты, где и как собираются печататься?

Брик разостлал на столе альманах «Взял», недавно выпущенный им и Маяковским. Брик разглаживал шероховатые страницы, с удовольствием демонстрируя содержание.

— Маяковского надо уметь читать. Обычно попросту не умеют прочесть правильно текст. А вы умеете?

Я доказал, что умею.

Брик весь был переполнен Маяковским.

Бурлюк организовывал футуризм в его первоначальном варианте. Маяковский перерос футуризм, использовав его как трамплин для

прыжка. В квартире Бриков закладывалась школа Маяковского, та, что впоследствии поднялась на поверхность. Школа, чьи судьбы связаны не только с непосредственными продолжателями интонаций Маяковского.

За обедом продолжалась беседа о политических злобах тогдашнего дня. О Горьком, о его журнале «Летопись», об отношении Горького к Маяковскому. О московском нашем «Млечном пути», слухи о котором докатились сюда. Маяковский слушал и вмешивался. И в то же время в нем продолжалась его неустанная работа. Слова, проходившие над столом, будили в нем особые представления.

— Надо послать заказной бандеролью, — по какому-то поводу сказал Брик.

Маяковский вцепился в слово и медленно разжевывал его:

— Бандероль, — бормотал он, повторяя за слогом слог. — Артистов банде дали роль. Дали банде роль, — гудел его голос, ни к кому не обращаясь, извлекая из попавшихся по дороге созвучий новые возможные содержания.

2

И вот я возвращался в Москву из города, словно приснившегося мне. Город для меня остался чужим. Настолько далеким, что мне странно теперь совмещать его с найденным впоследствии и обжитым Ленинградом. Кажется,

тогда я был в другом месте, — сумрачном, тревожном и тоскливом, несмотря на освещенную тесноту Невского и шум переполненных спекулянтами и офицерами кафе. И единственным до конца реальным явлением был в городе для меня Маяковский. Вот мы идем по незнакомым улицам. Лицо Маяковского озабочено. Он шагает очень крупно, так что за ним трудно поспеть. Мы оказываемся на пустом пространстве, на обширной площади, занесенной снегом. С двух сторон сухие деревья безлиственных мертвых садов. Вдали неясные здания. Площадь безотрадно гола.

— Марсово поле, — сообщает Маяковский. Тут нам нужно проститься. Он пересекает снежное пространство. Я стою на ветру.

Возвращаясь в Москву, я думал о Маяковском. Я переживал впечатление от всего облика его, ставшего более твердым и отчетливым. Без желтой кофты, переступивший через сумбурные лозунги первоначального футуризма, он опирался на свое внутреннее содержание. Насколько выше он был доморощенных московских мэтров, следящих один за другим из-за угла и сообща обвиняющих Маяковского в отступничестве.

— Помилуйте, «Новый Сатирикон», стишки вроде сатириконца Горянского. А какая тяжелая рифма — ведет река торги — каторги.

— Все они сосут молоко из моей груди, — шутливо заметил однажды Маяковский.

А хлопотливый Брик тут же начал развивать идею:

— Надо издать сборник «Ученики Маяковского». Как вы думаете, они согласятся?

Брик назвал несколько фамилий.

Я ответил, что не согласится никто. Каждый из подражавших Маяковскому изо всех сил старается доказать, что именно он первый сказал — а.

Но, несмотря на сознание своего превосходства, Маяковский оставался чрезвычайно простым. Он радовался успехам товарищей и всячески готов был поддержать молодых. Фатоватая поза, вздёрнутая голова, самовлюбленные, процеженные сквозь зубы фразы, модное тогда кокетничанье собственной «гениальностью» — все это было глубоко враждебно ему. Прямо, без всяких предисловий, не желая выслушивать никаких благодарных восклицаний, подошел он к телефону, позвонил в журнал «Очарованный странник», опиравшийся на левую молодежь, и совершенно категорически предложил редактору назначить мне скорую встречу и напечатать мои стихи.

Как бы для того, чтоб наглядно ощутить разницу между людьми и течениями, существовавшими тогда под обветшалой вывеской футуризма, на обратном пути в Москву я встретился в поезде с Самуилом Вермелем.

Я упоминал уже об этом поэте-издателе. Им выпущен был в ту пору альманах «Весеннее

контрагентство муз» с Маяковским, Бурлюком и Пастернаком. Вскоре должен был выйти большой сборник «Московские мастера» с Хлебниковым и Асеевым. Сам Вермель издал свои «Танки» — коротенькие стихотворения в духе японских поэтов. Худой, невысокий и чопорный, Вермель впоследствии занимался театром и даже играл Пьеро в «Покрывале Пьеретты» у Таирова. В высокой котиковой шапке, в темной шубе, отлично пригнанной к его сухой фигуре, Вермель сидел со мной за утренним кофе в Клину и потом в вагоне, подъезжавшем к Москве. Полузакрыв холодные, темные глаза, он говорил, главным образом, о себе.

— Мои стихи вызывают раздражение. Меня встретит еще большее недовольство, когда я напечатаю стихи из одной строки.

Действительно, такое «стихотворение» впоследствии появилось: «И даже кожей своей ты единственная».

Типичный эстетствующий буржуа, Вермель уловил, что левое искусство может быть прибыльным предприятием. И в деловом, и в материальном отношении он счел выгодным к нему присоседиться. Футуризму грозила опасность быть прирученным и использованным буржуазией. Несомненно, не произойди революция, многие бы «левые» пошли на эту удочку. И можно представить без труда, в каких яростных формах разыгралась бы тогда их борьба с Маяковским.

8

К подъезду Вермеля однажды пришли мы с Хлебниковым, одним из основоположников и крупнейшим поэтом футуризма. Говоря о Маяковском, нельзя не вспомнить об этом человеке, столь непохожем на Маяковского и так Маяковским ценимом.

— Вы-то понимаете, что Хлебников гениальный поэт? — спросил как-то Маяковский у одной знакомой.

Вскоре после приезда в Москву я познакомился с Хлебниковым. Хлебникову нужны были деньги. И мы отправились к Вермелю.

«Московские мастера» уже вышли. Сборник был изготовлен пышно. Впервые в истории футуризма появилась книга представительная и изящная. Чуждая футуризму всем своим обликом, книга соперничала с продукцией «Скорпиона». В книгу вклеены на отдельных листах цветные репродукции с картин левых художников.

Там были стихи Хлебникова, прозрачные и тихие:

Эта осень такая заячья,
И глазу границы не вывести
Осени робкой и зайца пугливости.

Была там и причудливая его повесть с коротким названием «Ка».

Денег Хлебникову Вермель не припас. Мы ходили к дверям его квартиры, не допускавшим Хлебникова внутрь.

— Кто спрашивает? — слышалось из-за цепочки.

Выпрямившись и стараясь сделать свой тонкий голос внушительным, Хлебников отчеканивал фамилию. За дверью удалялись и возвращались шаги. Хозяина не оказывалось дома.

Мы спускались по лестнице. Хлебников шагал, весь съежившись. Вдруг на лбу его что-то дрогнуло.

— Я понял, — сообщил он, обернувшись.

И высоким, отрывистым говорком, словно ставя между словами многоточия, он объяснил, что это судьба. Вер — мель. Мель — вер. Чего можно ожидать от человека, на котором стоит такой знак? Мель, подстерегающая веру. Хлебников улыбался находке.

Жилось Хлебникову всегда плохо. Он бедствовал и не имел пристанища. Лучшие друзья часто уставали от него, не будучи в силах справиться с его неприспособленностью и неорганизованностью. Как правило, у него не было денег. Случайные издатели запускали руки в разваливающиеся вороха его рукописей и, наугад, вытащив связку, россыпью печатали его стихи. Иногда раздавался его протестующий голос: «Давид и Николай Бурлюки продолжают печатать подписанные моим именем вещи, никуда не годные, и, вдобавок, тщательно перевирая их». Но голос терялся в пространстве. И к тому же, как видно из рассказанного, напечатанное не оплачивалось.

Деньги нужны ему были для путешествий, а не для обзаведения имуществом. Имущество Хлебникова ограничено. Оно помещалось в вещевом мешке. Туда укладывались накопившиеся рукописи, листки с мелкими значками и буквами. Буквы роились, как насекомые. Кроме бумаг, мешок содержал куски хлеба. Поломанные коробки папирос. Ночами мешок мог служить подушкой. Иногда добавлялся причудливый груз, вроде кустарных ящичков или игрушек.

С таким мешком он пришел ко мне, кажется, в марте шестнадцатого года. Я познакомился с ним на обычном сборище у Василия Васильевича. Хлебников сидел на подоконнике, согнувшись и разглядывая стену. Он недавно прибыл из Петрограда. Неизвестно, кто направил его сюда.

Во всяком случае, Василий Васильевич его не знал. И объяснил мне растерянно:

— Вот пришел, назвался Хлебниковым. Сел в углу и молчит.

Люди сновали по комнате, не решаясь к нему приблизиться. От него словно отделялась тишина, образуя запретную зону. Кое-кто говорил умышленно громко, стараясь привлечь внимание гостя. Хлебников не поднимал головы.

...И как нахохленная птица,
Бываю, углублен и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих...

Молодежь разглядывала его со стороны. Хлебникову сопутствовала узкая, но отчетливая слава. Чудак. Самый крайний из футуристов. «Освободитель русского стиха», назвал его в фельетоне Чуковский. Написал: «О, рассмейтесь, смехачи». Слава, смешанная из ругани и восторга.

Я долго набирался духу, прежде чем к нему подойти. Вероятно, я расспрашивал его, откуда он и надолго ли в Москву. Я получал ответы быстрые и односложные. Напоминающие текст телеграмм. Разговор не имел развития. Но я завладел адресом Хлебникова. Не помню, как Хлебников исчез. К середине вечера его уже не было. И, пожалуй, все упростилось вокруг, в освободившемся от его присутствия обществе.

На утро я отправился за город. Хлебников остановился в Петровском парке. Там проживал его брат.

Был один из тех мартовских дней, когда весна вдруг заполняет всю окрестность. Весна еще будет отброшена, ей еще не позволено укрепиться. Но пока, на небольшой промежуток, небо пропитывается слепительной голубизной. Снег сияющий и золотистый делается пористым и ноздреватым. Дачные домики, оттаяв, желтели.

Я разыскал бревенчатое строеньице. Хозяйка впустила меня. Хлебников сидел в ком-

нате перед столом. Самовар сверкал помятой оболочкой.

Хлебников пил чай, заваривая его упрощенным способом. Сыпал чаинки в стакан и ожидал, пока они настоятся. Солнце запуталось в его пушистых волосах.

Хлебников не переменил положения. Не сказал полагающихся в таких случаях слов. Он объяснил мне только направление своего взгляда, указав на одну из стен:

— Вон — заяц... Я на зайца смотрю. Заяц. Это хорошо.

На стене висело чучело зайца.

И затем он показал свое достояние — кустарные коробки, вырезанные из белой липы. Хлебников вывез их из Сергиева Посада, куда ездил кого-то навестить. Коробочки, мягкое дерево которых обожжено простенькими узорами. Одна коробочка служила портсигаром. В другую насыпана денежная бумажная мелочь. Хлебников не пояснял, в чем их прелесть. Он не делал другого соучастником своих вкусов и склонностей. Он словно находился с коробочками наедине. Но по коридору бродила хозяйка. Лицо Хлебникова помутнело. Хозяйка бродит и ждет. Брат, оказывается, уехал совсем. Комната вперед не оплачена. На-днях окончится арендный срок. Хлебников брошен, и жить ему негде.

Это выяснилось из отрывистых фраз. Я предложил Хлебникову свою комнату.

4

Блуждание являлось его профессией, добавочной и примыкающей к литературе. Он жил словно на станции, сойдя с поезда и ожидая другого. Инстинктивная тяга к перемещениям, периодически охватывающая перелетных птиц. Недаром летом семнадцатого года так отметил он свой душевный подъем: «Я испытывал настоящий голод пространства, и на поездах, увешанных людьми, изменившими войне, прославившими мир, весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? Я сам не знаю».

И тогда, явившись ко мне, он готовился к выезду в Крым.

Денег на отъезд не было. Значит, надо ждать и работать. Работал он непрестанно. И, добравшись до моей комнаты, он вскоре оказался за столом. Бумаги вытрясены из мешка. Он сидел, сгорбившись, за столом. Замирал, втянув голову в плечи, вдвинув руки между колен. Вдруг надувались его щеки, словно разминал он набившийся в рот воздух. И затем, выбрасывал он воздух со звуком откупориваемой бутылки. Неожиданно словно падал вперед, перемещая затекшие ноги. И вскакивал резко со стула, останавливался у стенки, разглядывал пол. Внезапная мысль сталкивала его ночью с кровати, и одним прыжком он бросался к столу. И тогда можно было видеть его сутулую спину, будто согнутую постоянной

кладью. Слышался тихий скрип пера. Буквы расставлялись колонками и узорчиками. Иногда он обводил их линиями и заключал в круглые ободки. Это было странное зодчество, до сих пор вызывающее недоумение. Воздвигалось огромное здание из самых разнородных материалов. Словесные слитки, тонкие и проницаемые, украшали его, как цветные стекла.

Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой
И только призрачны и наги
Равнины белые овраги,
    Да голубая тишина
Просила слова вещуна,—
Там праздник масленицы вечный...

Но размер обязательно изменится. Рифмы переплетутся в неугадываемых заранее сочетаниях. А дальше окажется, что это совсем не стихи. Внимание автора как бы переместится в сторону. В строки вломятся числа и рассуждения. И вот уже стихи превратились в доклад, и рядом с обнаженными, раскрытыми во всю ширь горизонта образами вам сообщаются и сведения о буквах, из которых данные образы построены. Метафоры пойдут рука об руку с формулами.

Хлебников не утаивал своей лаборатории. Все бытует в стихах одновременно. И случайно пойманная фраза («хитрый, как муха», повторяла одна знакомая излюбленное свое выражение, и Хлебников вписывает в очеред-

ную поэму: «город, хитрый, как муха»). И черновая заметка из тех, что обычно прячутся в записных книжках. И свежая таблица словообразований. И числа, почерпнутые из всевозможных источников.

Здесь любопытно, например, такое сопоставление. Один из самых придирчивых к форме, самых сознательно вглядывающихся в процессы формообразования художников, во многих случаях совпадающий с Хлебниковым, — Андрей Белый работал над последними романами так: он окружал себя множеством папок, где заводились личные дела героев. Существовало дело — «Профессор Коробкин», расчлененное на множество рубрик. Внешность героя, герой в той или иной сцене. Словечки, жесты, движения, сопутствующий эпизоду кусок обстановки. Все, накопленное в течение подготовительного периода, вносилось в папки и занумеровывалось. Впоследствии, при работе над определенной сценой, материал извлекался на поверхность. Предварительная, предчерновая работа как бы подстилалась под вещь. Это был многослойный фундамент. Том записей, если б его напечатать, перевесил бы том романа.

Произведения же Хлебникова — это и «папки», и черновики, и отделанные набело части. Причем все существует совместно.

Двум основным обобщающим мыслям Хлебников служил всю жизнь. Мысли о всечеловеческом языке и мысли о том, что история раз-

вивается ритмически, закономерно, и, следовательно, можно обнаружить и перевести в цифры этот ритм. И тогда, в комнате на Волковом переулке, он трудился над разрешением двух своих жизненных задач. Хлебников был проникнут ощущением, что некогда язык был единым. «Дикарь понимал дикаря». Впоследствии звуки, «изменив своему прошлому», стали служить «делу вражды». Новый «звездный» язык будет «новым собирателем человеческого рода». Тут начинались трудности, непосильные для целой армии гениев.

Хлебникову казалось достаточным найти ключ к звуку, обозначаемому той или иной буквой. Надо определить ее смысл. И тогда строить из этих общеобязательных по своему внутреннему содержанию звучаний новые общеобязательные слова. Хлебников полагал, что звук хранит этот неизменный смысл. Заключенную в звуке «вещь в себе» предполагал он извлечь наружу.

Смысл звука следовало раздобыть экспериментально. Путем сличения слов. Работа кропотливая и неисчерпаемая. Нужно внедриться во все языки. Хлебников же располагал преимущественно русским. Но и при полном охвате всех существующих на свете слов можно ли прийти к устойчивым выводам? Ведь звук меняется в окружении других. И какой звук в слове главенствует? Можем ли мы допустить, что словом «лодка» управляет звук «л»? И что

именно его мы поймем, разглядывая данное слово?

Подобное сомнительное предположение Хлебников принял без оговорок. «Отдельное слово походит на небольшой трудовой союз, где первый звук слова походит на председателя союза, управляя всем множеством звуков».

Значит, надо накопить как можно больше слов, начинающихся с «л», чтобы разглядеть, что скрыто в этом «л» общее для всего запаса.

Исследования Хлебникова опирались на эту мысль. Это было титаническое задание, напоминающее неосуществленные замыслы Микель-Анжело. Работа изнурительная и гипнотизирующая, заманивающая обманчиво вспыхивающими удачами. Менее всего подходящая к страннической жизни, к отсутствию своего угла и сотрудников. И все же именно ее волок Хлебников на своих плечах. А не только свой мешок с почти невесомым имуществом.

И вторым стремлением его было уловить ритм истории.

— Мне нужны книги, где цифры, — говорил Хлебников одной знакомой.

Им владело инстинктивное убеждение, что развитие человечества диалектично и закономерно. Через определенный отрезок времени событие вызывает свой противообраз. И, присматриваясь к хронологическим датам, можно эту закономерность исчислить. Такая идея в понимании Хлебникова не заключала ника-

кой мистики. Хлебников был вполне позитивен. Он вносил лишь художественное воображение в свои чисто экспериментальные занятия. Рассуждал он так: есть периодичность природных процессов. От суточной смены до огромных астрономических колебаний. Ритм пронизывает все явления жизни.

Почему исключать нам историю?

Но и от этих спорных предпосылок до конечных выводов — глубокая пропасть. Хлебникову же требовался спешный результат.

И добивался он его с мучительной торопливостью. Больше цифр — и задача разрешится. Он выклевывал цифры отовсюду, как птица выклевывает зерно. Биографии великих людей, даты сражений, формулы физики. И число шагов, которое германский пехотинец должен отстукать в минуту. И число ударов сердца, и расчеты колебаний струны. Все возможные ритмы он пытался свести к одному. Чтоб найти центральное число, скрепляющее собой все явления.

Путем различных подсчетов Хлебников пришел к заключению, что основное число человечества — 317. Это значит, что событие через 317 лет или через число лет, кратное 317, перекликнется с другим событием, родственным ему, хотя и происходящим на ином историческом уровне.

Хлебникову, живому Хлебникову, а не кабинетному философу и исследователю, необхо-

димы были спешные выводы. Не для того, чтобы на них успокоиться, но чтобы применить их к общему благу. «Когда люди науки измерили волны света, изучили их при свете чисел, стало возможно управление ходом лучей...» «Изучив огромные лучи человеческой судьбы... человеческая мысль надеется применить и к ним зеркальные приемы управления... Можно думать, что столетние колебания нашего великанского луча будут так же послушны ученому, как и бесконечно малые волны светового луча».

Пора научиться управлять миром на незыблемых научных основах. Что мир устроен из рук вон плохо, кто знал это лучше, чем Хлебников, бездомный и нищий, вскоре превратившийся в «рядового 90-го запасного пехотного полка, 7-й роты, 1-го взвода», прогнанный и сквозь больницу для сумасшедших, и сквозь чесоточный госпиталь. Но дело касалось не только его одного. Ведь и «Пушкин и Лермонтов... были прикончены, как бешеные собаки, за городом, в поле». Как жадно хотелось Хлебникову крикнуть из смрадных погребов империалистической войны: «Клянусь కониной, мне сдается, что я не мышь, а мышеловка».

Хлебников медлить не мог. Надо «распутать нити человечества».

Наденем намордник вселенной,
Чтоб не кусала нас, юношей.

Этот одинокий, замкнутый человек глубоко принял в себя все беды действительности. Его написанные против империалистической войны стихи плечом к плечу стоят с тогдашними стихами Маяковского. Мысль о справедливом устроении мира падает лучом на цифровые выкладки Хлебникова. Важна эта горячая мысль, а не сомнительные расчеты его схем. Этот одинокий человек неустанно мечтал о сотоварищах. Он понимал, одному не справиться. Хлебников тоскует о союзах и организациях. Он учреждает их на бумаге. Вот общество «317», в него спешно вписываются все знакомые. Вскоре, обращаясь к Н. Кульбину из царицынского военного плена, откуда слышится самое страшное для Хлебникова признание — «благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка», — он все-таки прибавляет в конце письма: «26 февраля в Москве возникло общество 317-ти членов. Хотите быть членом? Устава нет, но общие дела».

И время ли толковать об уставе? «Общие дела» вселенной в угнетающем упадке.

Из всех членов единственный Хлебников смотрел на общество не как на литературную шутку. Он верил в добрые воли людей. Верил в создаваемые им метафоры. Вот почему он величал себя повелителем мира — «Велимиром». И был «председателем земного шара».

И таким же председателем считал он и Маяковского.

5

Разумеется, тогда, в моей небольшой комнате, я не отдавал себе ясного отчета ни в размахе замыслов Хлебникова, ни в размерах его ошибок. Не представлял я и того значения, которое Хлебников придавал своему недавно измышленному обществу, список членов которого берег он на одном из привезенных в мешке мятых листов. В этот лист Хлебников, благодарный за гостеприимство, немедленно внес и меня. В ожидании денег и выезда Хлебников задержался в Москве. Утрами мы усаживались за стол, стараясь не допускать случайных гостей. Оба работали, перебрасываясь короткими фразами, и показывали друг другу написанное. Перебирали общих знакомых, беседовали о петроградцах, с которыми Хлебников виделся позже меня. Мне вспоминались слышанные о Хлебникове рассказы, и я осторожно проверял их правдоподобность. И видел, что Хлебникову неприятно, что его считают чудаком. В своем собственном представлении он был иным — смелым, ловким, говорящим громко, ведущим толпу за собой, — словом, очень похожим на Маяковского, которого Хлебников безоговорочно признавал и любил.

Мы вместе отправлялись обедать в какую-нибудь вегетарианскую дешевую столовую. Иногда выбирались в гости.

— Пойдем сегодня к композитору А., — както предложил Хлебников.

— А вы знаете его адрес?

— Нет.

Но мы пошли. Шел Хлебников несколько впереди, иногда приостанавливаясь и вглядываясь. Район был ему известен.

— Я найду, — ободрял он меня.

Так охотники ищут путь в лесах. Тут должны быть высокие дома, затем уровень их спадает. В расположении и обликах зданий Хлебников пытался уловить закономерность. Он старался уловить ее во всем. Он словно вынуждал город распределением каменной ткани указать с полной точностью пребывание искомого человека. Вряд ли всегда это удавалось Хлебникову. Но композитора мы в тот вечер нашли.

Подчас днем выбегал он на улицу. И возвращался со свежими вестями.

— Вот. Я сегодня влюбился.

Он встретил на улице двух девушек, привлекших его внимание. И пошел их провожать.

Иногда мы ходили к Вермелю и безрезультатно возвращались назад.

Помимо отсутствия денег, Хлебникова томило и другое. Впереди маячил возможный призыв. Хлебников посматривал на него сумрачно. Он избегал о нем говорить, смутно надеясь на случайное избавление.

Однажды я застал его в комнате растерянным и озабоченным. Он стоял у зеркального шкафа, сбросив пиджак, и обхватывал грудь

сантиметром. Сантиметр соскальзывал по рубашке, измерение давалось с трудом.

Быстро переступив с ноги на ногу, он стал мне объяснять:

— Размер груди. Буду ли годен?

Он выпрямился у дверцы шкафа и отметил на ней свой рост. Хотел измерить отмеченную высоту, но, скомкав, отбросил сантиметр. Не знаю ли я, какой нужен рост, чтобы напялить шинель пехотинца?

Я не знал. Хлебников задумался.

Нет, войну не обмануть.

Мы выходили из мастерской Коненкова, расположенной почти напротив нашего переулка. Мы осмотрели там огромные деревянные тела, тихо желтевшие, кое-где тронутые синим и розовым. Постояли перед «Паганини» — грозной глыбой зернистого мрамора, от которой массивно отделялся профиль странного и могучего существа. У забора Коненковского домика мы остановились на Пресне. Ряды немолодых солдат проходили с невеселой песней.

Хлебников остановился как зачарованный. Но зачарованность была унылой. Он всматривался, вытянув голову, словно впервые видел эти свисающие сырые шинели, откидываемые одинаковыми толчками выбрасываемых вперед сапог. Солдаты шлепали по рыжей кашице снега, по бурым, как пиво, лужам. Я не помню, сказал ли что-нибудь Хлебников или просто оглянулся на меня. Но он видел себя в этой

трупе под низколохматящимся непогодным небом запущенной Пресни, и каждый шаг ему давался с трудом. И хотелось броситься к Хлебникову на выручку и прекратить это унизительное недоразумение. И уже забывшимися сейчас словами я принялся его утешать.

Но зато он весь обновлялся, когда отъезд становился достижимым.

Деньги прибыли рано утром по почте, и я еще не успел проснуться. Открыв глаза, я Хлебникова не застал. Вскоре влетел он возбужденный и сияющий. Руки переполнены свертками.

— Вот я купил.

Свертки упали на освещенный солнцем стол. Булки, масло, сахар, колбаса.

— И это, — показывал Хлебников банку сгущенного молока.

Он накупил продуктов наугад, готовый всему порадоваться, все одобрить.

Теперь он несомненно богат. В тот же день приобрел он новую верхнюю рубашку. Старую он скатал в клубок и вышвырнул вниз за окно. Довольный, прислушался он, как рубашка шлепнулась на двор. Отдавать в стирку длительно и хлопотно. К тому же предстоял отъезд.

За столиком кафе на Петровке Хлебников перебирал города. Он проедет в Харьков к Петникову. Оттуда в Одессу или прямо в Крым. Затем заглянет в Астрахань к своим. Все двери оказались открытыми.

А может, заехать еще в Питер? Хлебникову казалось, что денег множество. Он не только может сам путешествовать, но в его средствах обеспечить и попутчика. Он начал меня уговаривать посмотреть с ним южное солнце.

Вечером мы ехали в лифте. Лакированная кабинка с продолговатым зеркалом волокла нас наверх. Хлебников неожиданно сказал:

— Вам грустно? Вам хочется в Петроград? В Петрограде вы будете счастливы?

Я что-то пробормотал в ответ.

— Так поедем вместе в Петроград.

— А юг?

— На юг после.

Между тем на дорогу до Крыма едва достало бы денег ему одному.

И самым жестоким несчастьем было то, что перед посадкой в поезд его обокрали на вокзале. Не осталось ни билета, ни денег. Провожавший Хлебникова поэт П. увез его к себе.

Когда я увидел его у П., Хлебников был измучен и потрясен. Словно после уличной катастрофы, когда тело в ранах и вывихах. Поседелый, еще более молчаливый, с глазами тревожными и обиженными. Что делать дальше? Что всегда под руками? Только труд, от которого не уйти.

Хлебников так и остался у П. Работает. Днем иногда выходит. Но больше прячется. Мир — западня. Работа перетягивается на вечер. Постепенно занимает всю ночь.

Работа над созданием «звездного» языка, который будет «собирателем человеческого рода».

Странная квартира, тоже напоминающая западню. Бродит хромой, мастерового вида, чернявый хозяин. У него недобрая, подстерегающая усмешка. Он возвращается поздно из чайной, что находится в том же доме. В эту чайную, в ее чадную, клубящуюся теплоту, бегаем и мы с П. за порциями крепкого кипятка. Хозяин расхаживает по комнатам, убранным с мещанским усердием. Он присаживается и вступает в разговор, рассказывает бредовые истории. Мимо шмыгает его усердная сестрица с тонкими поджатыми губами. Мы узнаем, она убила за что-то мужа и досрочно выпущена из тюрьмы. За обеденным столом засел Хлебников над неровно разрезанными листками. Схватится за горячий стакан, надопьет и забудет о нем. Хлебников набирает слова на букву «ч». Всматривается светящимися глазами в затененные абажуром углы.

Череп. Чаша. Чулок. Он иногда повторяет слова вслух. Начнет объяснение и замолкает. Высокий П. в красной рубахе дымит трубкой, постукивает сапогами. Басом подскажет еще слово. Напомнит о чоботах и челнах.

Хозяин опять добрался до нас. Улыбка щерит его цыганское лицо. Он повествует о приятеле, которому отправил он в подарок гроб. Заказал по телефону в бюро и с полным ассортиментом послал другу в день именин. Может

быть, хозяин и врет, но он ждет от нас одобрений. Хлебников утомленно ежится. Его расширенные глаза пустеют.

И дальше в тот же костер все подкладываются хворостинки слов.

— Вот, — обращается Хлебников, смотря в наши бессонные, обесцвеченные усталостью лица. — Ч — означает оболочку. Поверхность пустая внутри. Она охватывает другой объем. Череп. Чаша. Чулок.

Так продолжается, пока на собранные по знакомым деньги Хлебникову не удается, наконец, оставить Москву.

Но, вместо Крыма, почему-то в Царицыне настигает его военная служба.

6

А где же еще один герой нашего повествования — Давид Давидович Бурлюк? После тифлисской встречи я его не видал. Обычно проводивший зиму в центрах, в военные годы он затворился где-то около Уфы. Там жила в то время его семья.

Бурлюк рассчитал, что война не благоприятствует его искусству. На военном фоне шумные выступления футуристов выглядели бы неуместно. Проповедь империалистической войны для русских футуристов, в отличие от западного их собрата Маринетти, была совершенно неприемлемой. Открыто же протестовать против

войны невозможно. К тому же Маяковский не имеет права выступать. Бурлюк не мыслил своей работы без «Володички». Бурлюк почел за благо переждать.

В Москве говорили, что Бурлюк торгует сеном. Торговал ли он чем-нибудь — неизвестно. Коммерция его занимала, и, возможно, он и отдал ей дань. Но чем бы ни занимался Бурлюк, живопись была главным делом. Более светлую часть года он посвящал обязательно ей. Тогда поднимался он рано, и в помещении, а затем на воздухе обрабатывал многочисленные холсты по заранее намеченному плану.

Бурлюк был подлинным мастером, но слишком всеядным художником. Он не придерживался одной манеры, им созданной и для него необходимой. Он пользовался множеством приемов и каждым овладевал хорошо. Разложенные кубистически формы, лошади с добавочными ногами, якобы вызывающие в зрителе ощущение движения, народные примитивы и лубки и, наряду с ними, академически-добросовестные пейзажи. Наконец, каждый современный художник всасывался и перерабатывался им.

— Я ощупал холсты Ларионова копытцами своих взглядов, — как-то заявил мне Бурлюк. И далее рассказывал, что, бывая в Петрограде, изучает живопись Филонова. Проникая в кухни соседей по искусству, он варил похлебки по чужим рецептам. Он был словно особым бюро

по изготовлению картин разных направлений. Практическим пропагандистом малоизвестных публике авторов. И, будучи даровитым, умелым живописцем, он не стал самостоятельным творцом.

Бурлюк оказался в Самаре, когда я приехал туда на весенние каникулы. Только что совершилась Февральская революция. Бурлюк мгновенно выплыл наружу. Он двигался из города в город с грузом запасенного товара. Товар уложен был в основательных ящиках. Товар — картины, написанные под Уфой.

Останавливаясь в попутных городах, Бурлюк устраивал выставки.

Я отправился разыскивать Бурлюка. Он стоял в витрине снятого им на главной улице небольшого торгового помещения и укреплял изготовленный только что плакат. На Бурлюке — высокая баранья шапка и добротный, из толстой материи, свободно свисающий штатский костюм. Бурлюк кивнул мне через витринное стекло. Я вошел внутрь его владений. Рамы с холстами частью были развешаны, частью стояли еще по углам. Бурлюк возился с гвоздями и молотком. Маленькая пожилая женщина хлопотала около него.

— Моя мамаша, — объявил Бурлюк. — Тоже художница.

Труды мамаши также выставлялись для обозрения.

— Мамаша, передайте мне сюда эту картинку, — грохотал Бурлюк неестественным басом. — Надо вешать картины тесно, чтоб проплюнуть между ними было нельзя.

Густо промазанные, подчас топорщащиеся и шершавые от безжалостно наложенных красок, холсты изображали, преимущественно, пейзажи и портреты. Фигурировал, кажется, и один из многих вариантов «запорожца», написанного одновременно с разных точек зрения. Но общее впечатление от картин — они не были особенно левыми. Может, Бурлюк берег наиболее боевые работы для столиц.

Тут же объяснил он распределение ролей. Мамаша будет продавать билеты. Мне придется вместе с Бурлюком читать свои и чужие стихи во время выступлений, какие должны происходить периодически на выставке. И мамаша и я получим за это плату. Бурлюк не признавал бесплатных услуг. Тем самым оберегал он и себя от всяких поводов к благотворительности.

— Все человеческие отношения, — рассуждал он, — основаны только на выгоде. Любовь и дружба — это слова. Отношения крепки в том случае, если людям выгодно относиться друг к другу хорошо. Мы помогаем один другому из-за выгоды, и тогда все между нами понятно и просто.

По улице проходили многочисленные демонстрации. Сквозь витрину долетали еще непривычные революционные песни. Невдалеке,

в маленьком сквере у памятника «царю-освободителю», шел повседневный непрекращавшийся митинг.

— А что, если раскраситься и пройтись в таком виде по городу? — задумывался над сложившимся положением Бурлюк. — Неизвестно, как отнесутся к этому. Свобода коллективных выступлений достигнута. Неизвестно, в какой мере мы можем проявить себя индивидуально.

Бурлюк не склонен был лезть на рожон. Раскрашенные лица не вязались с революционным взволнованным городом. Такой способ саморекламы был Бурлюком упразднен.

Но из этого вовсе не следовало, что Бурлюк впал в несвойственную ему тихость. В свободное время он слонялся по городу, вмешивался в разговоры, заходил на собрания всевозможных организаций. Попав на любую сходку, даже не вполне разобравшись, что, собственно, здесь обсуждается, Бурлюк требовал слова.

— Выступать надо всегда. Это приучает обращаться с публикой. Быть оратором особенно важно теперь.

Большой зал театра «Олимп» переполнен солдатскими шинелями. Кричат с ярусов, выбегают на сцену. Продолжать войну или кончить немедленно — вот главный вопрос.

Бурлюк шествует по проходу между креслами в своей высокой бараньей шапке. Вскарабкавшись на помост, он яростно что-то провозглашает. Он потрясает кулаком и топает в до-

ски сцены. Не помню, чего, собственно, он добивался, но речь была достаточно накаленной. Впрочем, пожалуй, слишком туманной. Народ нуждался в прямых, отчетливых политических формулировках. Бурлюку хлопали, но он вернулся несколько разочарованный. Он чувствовал, что речь его беспредметна. Очевидно, не так теперь надо говорить.

Жизнь выставки шла своим чередом. В помещение просачивались небольшие группки с улицы. Мамаша аккуратно отрывала билетики. Бурлюк водил посетителей от стены к стене. Голос его становился сладчайшим. Бурлюк умел переключать его из баса в тенор. Бурлюк импровизировал короткие лекции, имевшие целью убедить зрителей в совершенстве выставленных картин. Мгновенно заводились знакомства. Бурлюк прикидывал, кто годен стать покупателем. Что бы ни происходило на свете, а картины продаваться должны.

— Вы думаете, общество не тратит деньги на искусство? — распространялся Бурлюк, когда мы оставались одни. — Взгляните на этот дом, — он показывал сквозь витрину на противоположную сторону улицы. — Фасад дома сделан не просто. Сколько там розеток, каких-то бородавок, ненужных карнизов. Все это во имя красоты. Заказчик хотел, чтобы дом был красивым. Но он ничего не смыслит в красоте. Он зря тратил деньги на мастеров и маляров. А эти деньги он должен тратить на нас. На

настоящих художников. Только надо научить его этому.

И Бурлюк наводил справки, кто из горожан обладает деньгами.

Перед выступлением, о котором объявлено было заранее в газетах, я застал Бурлюка во второй комнатке, примыкавшей к выставке и ничем не обставленной. Он сидел на табурете, облаченный в черный сюртук. Жилет из грубой желтой набойки был последним признаком несвоевременного теперь футуризма. Бурлюк вглядывался в исписанный листок, и лицо его было озабоченным. Он готовился к своему докладу. Надо собраться с мыслями. Его импровизации были заранее взвешенными. Даже в таком скромном случае, когда предстояло «работать» перед небольшой кучкой людей.

— Заведите себе привычку записывать в книжку изречения великих людей. Это очень пригодится для выступлений, — мимоходом посоветовал он.

Говорили мы, стоя за маленьким столиком, находившимся в углу выставочной комнаты. Бурлюк распространялся о падении царского режима, о предстоящем свободном расцвете искусств. Публика слушала, стоя. Студенты и девушки, несколько забредших с улицы интеллигентов. Народ не интересовался тогда ни выставкой, ни лекциями об искусстве. Бурлюк говорил умело, но все выглядело скромно и по-домашнему. Маленькая группа принимала слова

его без возражений, без недовольных реплик, столь обычных в прежние годы. Что такое был теперь прославленный футурист по сравнению с размахом событий? Не спорить с ним, а отдохнуть от тревожной всероссийской сумятицы забрели эти люди сюда, в блестевшее холстами пристанище. Они тут прятались от политики. И Бурлюк их политикой не обременял.

Он читал после вступительного слова стихи, добросовестно выполняя обещанную программу.

— Маяковский — Гомер современности, — возглашал он, вскидывая лорнет.

Впрочем, стихи Маяковского он перевирал.

— Никогда не могу запомнить точно стихи. Приходится придумывать слова самому. У меня на этот случай есть лазейка, читаю, мол, неопубликованные варианты.

Только классиков Бурлюк цитировал правильно, щеголяя обширным знанием Пушкина.

— А вы читайте стихи, стоя прямо. Кто же читает, опершись о стол? — дал мне Бурлюк очередной совет.

Таких выступлений состоялось несколько.

После них Бурлюк откликался на приглашения. Отправлялись пить чай в самарские семьи. Враждебных оппонентов Бурлюк сметал беспощадно, но с сочувствующими был очаровательно-шелков. Люди сияли, обласканные его беседой. Молчаливый, пожилой купец на глазах добрел рядом с Бурлюком. Почтенные дамы находили его образцово воспитанным.

Только что представившийся моряк весело похохатывал, словно обрел в Бурлюке закадычного приятеля. После встреч Бурлюк подводил итоги — деловые и психологические.

— Этот художник живет одиноко, но в комнате его бывает женщина. А из того студента, сына купца, может получиться культурный меценат.

Главная цель — продать несколько холстов. Конечно, не из тех, что припасены для Москвы.

И цель, разумеется, достигнута. Выставка запакована в ящики. Неизвестно, что принесет новое время. Надо приглядеться к обстановке. Вот Володичка пошел напрямик. Сразу связал себя с левыми партиями. Читает в Питере стихи о революции. Тут не без влияния Горького. Сейчас Бурлюк несколько сбит с толку. Какая завтра ожидает его аудитория? С чем следует обращаться к ней?

Пока же выставка прошла без убытков. Даже одна картинка мамаши продана. Бурлюк расхаживает по перрону, сдав свое имущество в багаж. В огромной бараньей папахе, в длинном, напоминающем армяк, пальто. В последний момент он продолжает поучать:

— Читайте исторические анекдоты Пушкина. Я их тщательно изучал. Сжатый язык, острый сюжет. Так должна строиться проза.

Глава четвертая

1

Маяковскому не приходилось нащупывать аудиторию. Он знал, куда обращаться после революции. И знал, какими словами о ней говорить. Стихотворная его «хроника» о событиях раздавалась на петроградских митингах. Кончилось молчание военных лет. Глава поэмы «Война и мир» появилась в горьковской «Летописи».

Незадолго до Октябрьских дней в Москву приехал Василий Каменский. Он устроил открытый вечер в большой аудитории Политехнического музея. Выглядел он бодро и весело. Напрямик заявил о своем сочувствии большевикам. Разумеется, в его формулировках многое отдавало анархическим бунтарством. Но в тот период у большинства деятелей искусства политическое мировоззрение только начало определяться. И часто важен был непосредственный отклик на события. За что ты стоишь? За кадетскую программу, за керен-

щину? Или против временного правительства, за свержение буржуазии, за немедленный мир?

Каменский читал «Стеньку Разина», приобревшего теперь новый смысл. Надо уничтожить социальное неравенство. Долой богатых, да здравствует власть бедняков!

Это не значило, что с прежним футуризмом покончено. Футуризм не столько перестроился, сколько почувствовал, что отдельные его установки совпадают с революционной действительностью. «Мы предлагаем свое оружие большевикам», — так можно сформулировать тогдашнее настроение футуристов. Маяковский занял наиболее правильную позицию и вскоре повел за собой остальных.

Каменский объявил, между прочим, что в ближайшем времени в Москве откроется кафе поэтов. Там будут выступать футуристы. И пригласил публику туда приходить.

В тот же период в Москве подвизался еще некий деятель футуризма. О нем стоит упомянуть потому, что мы встретимся с ним в кафе. Он характерен как еще один образец людей, приспособившихся к футуризму и стремившихся использовать эту вывеску на первых порах революции. Афиши этого проповедника напоминали зазывания провинциального чревовещателя. Футурист жизни — Владимир Г. — русский иог, призывающий к солнечной жизни. На плакате выделялся его портрет — пронзительное

лицо под вьющимися волосами. Голая шея, а иногда и голая грудь. Среди всяких оглушительных тезисов фамильярно упоминались в качестве друзей «четыре слона футуризма» — Маяковский, Хлебников, Каменский, Бурлюк.

Московская публика оказалась доверчивой. Аудитории заполнялись добросовестно. Проповедник выходил в яркой шелковой рубахе с глубоким декольте. Шея его действительно была крепкой. Да и весь он выглядел могуче. Брюки-галифе, желтые краги. Спортивный тренированный вид.

Долой условности, ближе к природе, загорайте на солнце, освободитесь от воротничков! Рекомендовалось вегетарианское питание, предлагалось ходить без шапки круглый год. Сам Г. поступал таким образом, нарушая лишь вегетарианский устав. В зимние дни он носился по Москве в открытых своих рубашках. Прибегал он к шерстяной куртке только в крепкий мороз.

Тут же на лекции демонстрировал он дыхание, позволявшее сохранять тепло. Совсем ни к селу, ни к городу читал стихи, преимущественно Каменского. Впрочем и одно свое, воспевающее его собственные качества.

Но главный, центральный номер преподносился в конце. Г. брал деревянную доску. Публика призывалась к молчанию. Г. громко и долго дышал. И вдруг хлопал себя доскою о темя. Все вскрикивали. Доска раскалывалась.

на две. Аплодисменты. Г. стоял гордо. Во всеуслышанье сообщал свой адрес. Желающих поздороветь просил обращаться к нему.

Публика хохотала и хлопала. Накрашенные женщины тянулись к эстраде. Одна прококаиненная актриса даже взобралась на стол.

— Владимир, мы больные люди города, верни нас к солнечной жизни!

В кольце поклонниц ловкий парень шествовал без шапки по Тверской. Там, в гостинице «Люкс», занимал он богато обставленный номер.

2

Кафе открылось без меня. Вскоре после Октябрьской революции я отправился месяца на два в Самару. Ремонтировалась моя комната, поврежденная случайно залетевшим снарядом. В Москву вернулся я в начале января.

Я знал от товарищей, что кафе действует.

Маяковский там бывает всегда.

Трамваи, работавшие с перебоями, окончательно иссякали часам к девяти. Постояв у Смоленского рынка, я двинулся на Тверскую пешком. Город освещался слабо. Подъезды наглухо заколочены. Изредка проскальзывали сани, подскакивая, торопился автомобиль.

Не связанная трамваями Москва представлялась расползшейся и громадной. Расстояния приобрели первобытную ощутимую протяженность.

Сколько раз я проделал этот путь в течение ближайшего времени! Я выработал технику сокращений, пользуясь переплетениями переулков. Знал, где надо менять тротуары, под каким углом пересекать перекрестки. Выступы фасадов, впадины дворов, резьба на воротах и оградах, — осязаемым пешеходным знанием города я успел тогда овладеть.

Но в тот вечер я шел наугад. Торопился, боясь опоздать.

Кафе помещалось на Настасьинском. Криво сползающий вниз переулок глубоко уходил в темноту. Фонарь дремал на стержне, воткнутом в стену. Под ним — низкая деревянная дверь, прочно закрашенная в черное. Красные растекающиеся буквы: «Кафе футуристов». И пущена змеевидная стрелка.

Я пришел слишком рано, не зная местных обычаев. Дощатая загородка передней. Груботканный занавес — вход.

И вот — длинная низкая комната, в которой раньше помещалась прачечная. «Как неуклюжая шкатулка, тугой работы кустаря». Земляной пол усыпан опилками. Посреди — деревянный стол. Такие же кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми кустарными скатертями. Вместо стульев низкорослые табуретки.

Стены вымазаны черной краской. Бесцеремонная кисть Бурлюка развела на них беспощадную живопись. Распухшие женские торсы, глаза, не принадлежащие никому. Многоногие

лошадиные крупы. Зеленые, желтые, красные полосы. Изгибались бессмысленные надписи, осыпаясь с потолка вокруг заделанных ставнями окон. Строчки, выломанные из стихов, превращенные в грозные лозунги: «Доите изнуренных жаб!», «К чорту вас, комолые и утюги».

Между тем в кафе было тихо. Небольшая группа в углу. Кусиков, цепкий и тонкий, с маленьким горбоносым лицом. Елена Бучинская — актриса и чтица. Еще два-три завсегдатая. Я с ними тогда не был знаком.

Я уселся за длинным столом. Комната упиралась в эстраду. Грубо сколоченные дощатые подмостки. В потолок ввинчена лампочка. Сбоку — маленькое пианино. Сзади — фон оранжевой стены.

Уже столики окружились людьми, уже появился и что-то прочел Владимир Г., когда резко вошел Маяковский. Перекинулся словами с кассиршей и быстро направился внутрь. Белая рубашка, серый пиджак, на затылок оттянута кепка. Короткими кивками он здоровался с присутствующими. Двигался решительно и упруго. Едва успел я окликнуть его, как он подхватил меня на руки. Донес до эстрады и швырнул на некрашеный пол. И тотчас объявил фамилию и что я прочитаю стихи.

Так я начал работать в кафе. В тот же вечер Бурлюк и Маяковский назначили мне постоянную плату. Шестьдесят три следующих дня я ходил без прогулов сюда.

3

Кафе поначалу субсидировалось московским булочником Филипповым. Этого булочника приручал Бурлюк, воспитывая из него мецената. Булочник оказался податливым. Он производил на досуге стихи. В стихах чувствовалось влияние Каменского. Булочник издал на плотнейшей бумаге внушительный сборник «Мой дар». Дар был анонимным.

Впоследствии, за спиной всех поэтов, кафе откупил Г. Это была одна из ловких операций проповедника «солнечной жизни». Он поставил всех перед совершившимся фактом, одним ударом заняв главные позиции. Помимо старшей сестры, оперной певицы, еще раньше подрабатывавшей в кафе, за буфетной стойкой появилась его мамаша, за кассу села младшая сестра. В тот вечер Маяковский был мрачен. Обрушился на спекулянтов в искусстве. Г. пробовал защищаться, жаловался, что никто его не понимает. Публика недоумевала, не зная, из-за чего заварился спор. Бурлюк умиротворял Маяковского, убеждая не срывать сезон.

Но кто бы ни владел предприятием, хозяйство строилось так: было несколько постоянных сотрудников, обслуживавших каждый вечер эстраду. Поэты — Маяковский, Каменский, Бурлюк. Вышеупомянутая певица, «поэт-певец» Аристарх Климов. В этот штат включился и я.

Публика съезжалась поздно. Главным образом, после окончания спектаклей. Программа

сохранялась постоянная. Два-три романса певицы и Климова. От меня требовались два стихотворения. Маяковский — глава из только что написанного «Человека», «Ода революции» и отдельные стихотворения. Каменский демонстрировал «Стеньку Разина». Бурлюк — «Утверждение бодрости» и «Мне нравится беременный мужчина».

Таков скелет каждого вечера. Схема достаточно скудная. Но ни одно собрание не походило на предыдущие и последующие.

Маяковский и Бурлюк появлялись, когда публики накапливалось немало. Уже выполнены романсы певцами. Прочел загадочные стихи Климов. Кое-кто из молодых поэтов, поощренный лозунгом «эстрада — всем», поделился рифмованными чувствами. Но вечер не вошел в колею. Публика скучает и топчется, загнанная в это аляповатое стойло. Пожалуй, пора расходиться.

Но вот вошел Маяковский, не снимая отогнутой кепки. Иногда на шее большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрел сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Ему подано дежурное блюдо. Он зашел отдохнуть.

Иногда с ним рядом Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Он действительно себя чувствует так. Он явился

провести здесь вечер. Если им угодно глазеть, — что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий вокруг интерес. Люди как бы через невидимый барьер заглядывают на эту происходящую рядом беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.

И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам перебегают замечания. Бурлюк взвешивает — дать им ход или нет.

Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унизительно...

И вдруг Маяковский обернулся.

Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами и другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:

— Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.

Публика дружно рукоплещет.

Артист восходит на трехаршинные подмостки, словно приглашенный на лучшую сцену.

Отказов не бывало никогда. Посетители использовались целиком.

Вот забрел сюда тенор Дыгас, тогда гремевший у Зимина. Ограниченная коробка кафе не вмещает его массивного голоса. Вот извлечена балетная пара — и без соответствующих костюмов покорно силится себя проявить. Немного упрямится белесый, безбровый Вертинский, ссылаясь на отсутствие аккомпаниатора. Он мнется под все сгибающим взглядом Маяковского и, наконец, замирает, сжав кисти протянутых вперед рук. Картаво, почти беззвучно декламирует, знакомя публику со свежим, еще не пущенным в продажу изделием:

Ну, конечно, Пьеро не присяжный поверенный,
Он печальный бродяга из лунных гуляк,
И из песни его, даже самой умеренной,
Не сошьете себе горностаевый сак.

А вот двинулась цирковая ватага. Или Хмара из Художественного театра читает «Пир во время чумы».

Бурлюк не ослабляет руководства, умело приноравливаясь к посетителям. Если налицо Виталий Лазаренко, — пущена в ход тема «Футу-

ристы и цирк». Если пришел кто-нибудь из Камерного театра, — готов диспут о «Короле-Арлекине». Сидят за столиками несколько моряков, — исполняется Климовым «Песенка о мичмане». Публика подхватывает припев. Бурлюк дирижирует лорнетом.

Любить двух сразу
Нельзя никак,

громыхают нестройные голоса.

— Можно, — кричит Василий Каменский.

И под прикрытием освеженной беседы неизменный «Беременный мужчина» приобретал каждый раз как бы новые наружность и платье.

4

Маяковский читал в заключение. Наспорившаяся, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Каждый сжимался, как бы вбирая внутрь себя свои растрепавшиеся переживания. Еще слышались смешки по углам. Но Маяковский оглядывал комнату.

— Чтоб было тихо, — разглаживал он голосом воздух. — Чтобы тихо сидели. Как лютики.

На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, сдвинутая назад, козырек резко выдвинут надо лбом. Папироса шевелилась в зубах, он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами.

— Тише, котики, — дрессировал он собравшихся.

Он говорил угрожающе вкрадчиво.

Начиналась глава из «Человека», сцена вознесения на небо.

Слова ложились не громко, но удивительно раздельно и внятно. Это была разговорная речь, незаметно стянутая ритмом, скрепленная гвоздями безошибочных рифм. Маяковский улыбался и пожимал плечами, пошучивая с воображаемыми собеседниками:

«Посмотрим, посмотрим. Важно живут ангелы, важно.

Один отделился
И так любезно
Дремотную немоту расторг:
— Ну, как вам, Владимир Владимирович,
нравится бездна?—
И я отвечаю так же любезно:
— Прелестная бездна,
Бездна — восторг!»

И публика улыбается, ободренная шутками. Какой молодец Маяковский, какой простой и общительный человек, как с ним удобно и спокойно пройтись запросто по бутафорскому «зализанному» небу.

Но вдруг повеяло серьезностью. Рука Маяковского выдернута из кармана. Маяковский водит ею перед лицом, как бы оглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяженным и непрерывным. Кру-

тое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше, они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе. При чем-то, напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут же присутствуешь при явлении большого, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности:

Я счет не веду неделям.
Мы,
Хранимые в рамах времен,
Мы любовь на дни не делим,
Не меняем любимых имен.

И слушатели, растревоженные, затронутые в самом своем личном, как бывает всегда при встрече с подлинной поэтической правдой, тянутся, подчиненные Маяковским, благодарят его безудержной овацией.

Дальше шло в зависимости от настроения. Иногда разгон брался большой. Тогда читались хроника «Революция» или недавно написанная «Ода». Реже внедрялись отрывки из «Облака». Однажды, запинаясь, заглядывая в записную книжку, Маяковский произнес еще не остывшие, только что приготовленные; «Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм».

Иногда же все поворачивалось в сторону юмора. Ярко и звучно, с играющим веселым

задором прочитывались «Критик», или «Железка», или «Сказка о кадете», или «Военно-морская любовь». Или ряд других мастерских пустяков, вроде «Вы мне мешаете — у камыша итти». Ценя неожиданно образующуюся рифму, Маяковский извлекал ее со сверкающей легкостью. Рифмы разрастались в эпиграмму. Иногда, наоборот, каламбур выращивал рифму. Маяковский разбрасывал рифмы щедро, подчас, как серпом, подрезая противников.

Есть много вкусов и вкусиков.
Одному нравлюсь я, другому Кусиков

или

Поэт Гурий Сидоров,
Не носи даров

или

Искусство строится на «чуть-чуть», на ноте,
Помните это, поэтесса Панаиотти

или хлопнул однажды по Климову, когда в кафе пришел композитор Рославец, писавший музыку на тексты футуристов и оказавшийся Климову неизвестным:

Сколько лет росла овца
И не слыхала про Рославца.

5

Однажды кафе посетил Северянин. В тот недолгий период он «сочувствовал» революции и разразился антивоенными стихами. Это не помешало ему вскоре перекочевать за границу

и навсегда порвать с росийской действительностью. Но тогда пожинал он здесь последние лавры, призывая к братанию и миру. В военной гимнастерке, в солдатских сапогах, он прибыл обрюзглый и надменный. Его сопровождала жена — «тринадцатая и, значит, последняя». Заикающийся, взлохмаченный ученик, именовавшийся почему-то «Перунчиком». И еще какие-то персонажи. Всю компанию усадили за столиком на эстраде. Маяковский поглядывал на них искоса. Однако решил использовать их визит.

Он произнес полушутливую речь о том, что в квартире нужны и столовая, и спальня, и кабинет. Ссориться им нет причины. Так же дело обстоит и в поэзии. Для чего-нибудь годен и Северянин. Поэтому попросим Северянина почитать.

Северянин пустил вперед «Перунчика». Тот долго представлялся публике. Читал стихи Фофанова и Северянина, посвященные ему самому. «Я хочу, чтобы знала Россия, как тебя, мой Перунчик, люблю». — Меня одобрили два гениальных поэта. — Все эти подпорки Перунчику не помогли. Опустившийся, диковатый и нетрезвый, читал он неинтересно и вяло.

Был пьян и сам Северянин. Мутно смотря поверх присутствующих в пространство, выпевал въевшийся в уши мотив. Казалось, он не воспринимает ничего, механически выбрасы-

вая хлесткие фразы. Вдруг покачивался, будто вот упадет. Нет, кончил. И, не сказав ни слова прозой, выбрался из кафе со всей компанией.

Известный организатор поэтических вечеров Долидзе решил устроить публичное «состязание певцов». Вечер назывался «выборы короля поэтов». Происходил он все в том же Политехническом. Публике были розданы бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Выступать разрешалось всем. Специально приглашены были футуристы.

На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров.

Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не поместившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал «Революцию», едва находя возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народа, тем читал он свободней. Тем полнее был сам захвачен и увлечен. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок.

Но «королем» оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своем обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнущийся и «отдельный».

— Я написал сегодня рондо, — процедил он сквозь зубы вертевшейся около поклоннице.

Прошел на эстраду, спел старые стихи из «Кубка». Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.

— Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.

Северянин собрал записок все же больше, чем Маяковский.

«Король шутов», как назвал себя Дуров, объявил имя «короля поэтов».

Третьим был Василий Каменский.

Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом: «долой всяких королей».

6

Жизнь кафе шла своим чередом. Вылазки в большие аудитории заканчивались возвращением в продолговатую раскрашенную пещеру. Выполнялась установленная программа. Пуб-

лика принимала в ней участие. Внешне выглядело все веселым и согласным. Но все противоречия того времени отражались в этой капле действительности.

За столиками сидели непримиримые враги. Здесь находились представители той молодежи, которая завтра вольется в красноармейские полки. Скоро встречу я одного из таких поэтов на Арбатской площади в тулупе и с походной сумкой. «Надо сражаться, еду на фронт. Теперь не время писать стихи». С Арбатской площади он дошел до Брянского вокзала и в Москву не вернулся. Он остался на полях Украины с пулей, застрявшей в теле. И многие будут вспоминать потом голос Маяковского, лежа в окопах или читая лекции в холоде неотопленных красноармейских казарм.

Однако в кафе пребывают и те, кто завтра спешно будет выправлять документы, доказывающие их украинское происхождение. Кому будет казаться спасителем гетманский неустойчивый орел. Буржуазия, спешно спекулирующая перед тем, как оставить Москву. Молодые люди со следами погонов на шинелях, передающие друг другу новости о Корнилове. Один из них, лысоватый, затянутый в черкеску, втихомолку хвастает, что он адъютант великого князя. Подливая в чай водку из принесенного флакона, он посмеивается и пошучивает с соседями. Стрельба скоро начнется. Или они меня, или я их. А пока послушаем стихи.

. Сюда просачивалась и мутная масса подчас выглядевших довольно решительно людей. С револьверами за поясами, обвязанные патронташами, кто в студенческих тужурках, кто в гимнастерках. Они величали себя анархистами, проповедывали, шумели, приветствовали, зазывали в какой-нибудь захваченный ими особняк.

Уголовники, наркоманы, прожженная богема густо вмешивалась в такие «коммуны». На захваченных автомобилях они производили самочинные «реквизиции». Впоследствии в особняках обнаружились склады оружия, запасы продуктов и мануфактуры. Грозные с виду, с заломленными фуражками, с лихими чубами, эти ребята оказались робкими на деле. В одну ночь весной восемнадцатого года сдались большевикам их пышные гнезда. Но в ту пору они щеголяли в кафе, заставляя ворчать недовольного их засилием Бурлюка.

Один из таких вожаков зачастил в кафе регулярно. Прозывался он таинственно «Гуго», ходил в шелковой цветной рубашке на манер Г. Плотный брюнет южной наружности, не то бессарабец, не то грек. Иногда он таинственно исчезал в подкатившем автомобиле с потушенными фонарями. Ходили слухи, — Гуго отправился на «операцию». Какие-то нити его связывали с Г. О чем-то они шушукались в кухне. Что-то привозил Гуго «футуристу жизни». Вероятно, кафе было удобной явкой для сомнительных Гуговских затей.

И такая же двусмысленная пестрота была и среди выступающих на эстраде. Лозунг «эстрада — всем» давал простор для всевозможных вылазок. Вот читает поэт, автор сборника, называвшегося «Сады дофина». Сборник посвящен какому-то великому князю. Правда, наборщики отказались набрать титул. В посвящении значатся только имя и отчество, но они расшифровываются легко. В одном из стихотворений некий маркиз возглашает с эшафота «проклятье черни». Поэт картаво декламирует, перебирая янтарные четки. После выступления поэт посиживает со своим другом, журналистом вечерней газеты.

Журналист прекрасно одет и хвастается драгоценными перстнями. Довольно скоро будет обнаружено, что он крадет драгоценности у ювелиров. В результате выяснения его подвигов журналист кончит жизнь у стенки.

По кафе бродит «поэт-певец» Аристарх Климов, накрашенный до отвращения. Он красуется то в пестрых халатах, то в странных рубашках, то размахивает настоящим кадилом. Шепелявящий, взвизгивающий, завитой, он любит напустить на себя таинственность. «Надо мной смеются, но обо мне еще узнают. В моем имени все буквы Христа».

Климов жил в Петровском парке, во главе совсем уже непонятной «коммуны». Коммуна состояла и нескольких девушек, вместе с Климовым приходивших в кафе. Девушки молча-

ливые, ничем не примечательные, одна из них училась танцовать. В дом Климова наведывался Г., вся компания считалась его «учениками». Г. приглашал их к себе, в украшенный мехами номер «Люкса». Неизвестно, чему Г. их обучал, но можно было догадаться, что вся группа спекулирует. Уже в году двадцать третьем или двадцать четвертом в последний раз попался мне Климов на глаза. На Кузнецком Мосту в морозные сумерки он стоял перед освещенной витриной. Довольно хорошо одетый, он был накрашен попрежнему. Он улыбался, что-то бормотал или напевал, не обращая на окружающих внимания. Лицо тихого помешанного, устремленное в ярко сияющее стекло.

Разумеется, и люди другого толка обитали в многослойной атмосфере кафе. Большая группа поэтической молодежи, восторженно влюбленной в Маяковского. Когда приехали друзья Маяковского из Петрограда, Маяковский устроил своей армии смотр. По очереди выпускал поэтов, каждого соответственно представляя.

— Вот человек не очень заметный на первый взгляд. Но его бледное лицо и футуристический воротник говорят, что он незаурядная фигура.

— Тарас Мачтет — стихи прочтет, — выговаривал Маяковский для рифмы «ё» как «е».

— А вот читает такой-то... Сей остальной из стаи славной Маяковского орлов. Только с размером неладно.

В один из метельных вечеров в кафе вошли продавцы газет. Студент и две девушки, по виду, вероятно, курсистки. Как выяснилось, это сторонники «Учредительного собрания», и газета их издана каким-то комитетом, агитирующим за разогнанного «Хозяина земли русской». Бурлюк купил все газеты оптом.

Затем он поднялся на эстраду, разорвал газеты, швырнул их и растоптал.

— Мы не станем поддерживать мертвецов.

Продавцы кричали, часть публики возмущалась. Маяковский одобрил Бурлюка, назвав себя безоговорочно большевиком.

И действительно, тогдашние высказывания и статьи с полной ясностью определяли: футуристы целиком за новую власть. «Мы — большевики в искусстве», — несколько упрощенно формулировал Маяковский. «Мы — пролетарии в искусстве». Но не была найдена еще связь с подлинной революционной аудиторией. В самом деле, обстановка кафе, в сущности, жалка и случайна. Можно громить старое искусство в среде падкой на фразу паразитической богемы. Можно издеваться над представителями еще не выкорчеванной окончательно буржуазии. Можно заставлять их петь хором (что и происходило в действительности) сложенное Маяковским тогда же и ставшее знаменитым двустишие: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, час твой последний приходит, буржуй». Но все это

не настоящее дело. От кафе до масс — целая пропасть. Надо выйти из этой коробки. Надо расстаться с последними лохмотьями никого не пугающих футуристских одежд. Надо пробиться к пролетариату. Говорить с ним лицом к лицу.

В марте группой, объединенной кафе, был издан номер «Газеты футуристов». Номер оказался единственным. В нем статьи, манифесты, стихи.

Это была первая газета, расклеенная на стенах Москвы. Маяковский, Бурлюк и Каменский заполняют ее на три четверти. Из стихов Маяковского — «Революция» и впервые напечатанный «Наш марш».

Декларации еще выглядят двойственно. Тут и обычная футуристская самоуверенность. «Мы — первая и единственная в мире федерация революционного искусства». «Мы вожди российского футуризма — революционного искусства молодости». Тут взаимное коронование в гении. Но рядом пробивается иное. Нечто вроде чувства растерянности. Попытки договориться с новой аудиторией.

Маяковский решительней всех. Бурлюк осторожно примеряет, что футуризму может дать новая власть. Маяковский поворачивается к рабочим, запрашивая их в «открытом письме»:

«К вам, принявшим наследие России, к вам, которые (верю!) завтра станут хозяевами всего мира, обращаюсь я с вопросом: какими фанта-

стическими зданиями покроете вы место вчерашних пожарищ? Какие песни и музыка будут литься из ваших окон? Каким библиям откроете ваши души?»

Адрес найден, обращение послано. К нему присоединено объявление:

«Летучая федерация футуристов ораторов, поэтов, живописцев объявляет: бесплатно выступаем речами, стихами, картинами во всех рабочих аудиториях, жаждущих революционного творчества».

Футуристы ждут приглашений. Но послы не идут ниоткуда. И вот возникает удивление. Признания пока еще нет.

«Удивляемся тому, что до сих пор во всей демократической прессе идет полное игнорирование наших революционных произведений».

Очевидно, остается самим двинуться в массы. Расти вместе с пролетариатом.

Маяковский делает этот шаг.

Однажды в кафе приехал Луначарский. Он сидел в стороне за столом, как бы определяя полезность и пригодность происходящего. Центр всего совершающегося в тот вечер сам собой переместился к нему. Маяковский занял эстраду и долго с нее не спускался. Он показывал свою работу с достоинством и без всяких внешних прикрас. Он словно стоял за станком, объясняя свое производство. Перед одним из мастеров революции он раскрывал свое мастерство. И Луначарский встал отвечать.

Он говорил уверенно и логично, с полным спокойствием человека, владеющего целостным мировоззрением. Он обладал всеми средствами убеждения и доказывал совершенно просто, расчленяя мысль до конца. Он говорил, вполне воздерживаясь от поучений, но вместе с тем выглядел знающим больше других. Он исследовал характер футуризма. Видел сложность явления и предостерегал от ошибок.

Это была деловая критика, с которой впервые встретился футуризм.

8

Вдруг в кафе обнаружился Хлебников. Он откуда-то ехал. Революция освободила его от солдатчины и дала ему возможность перемещаться. Мне рассказали, что еще летом семнадцатого года он мелькнул в Москве. Он подбивал друзей реквизировать типографию «Русского слова», чтобы печатать воззвания и манифесты от имени Правительства Земного шара. Грандиозные планы переполняли его. Он был подлинным художником-утопистом.

И, как всякий настоящий утопист, он верил в реальность своих предугадываний.

И разве так невероятны его утопии? Именно теперь, в периоды огромных переустройств, на многое, измышленное им, мы можем взглянуть без удивления.

Не правда ли, до чего просто звучит сейчас написанное Хлебниковым в тот период, когда мы не знали еще радиоприемников, а о телевидении можно было только мечтать.

«Радио решило задачу, которую не решил храм, как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня». И дальше Хлебников повествует о том, как «все село собралось слушать».

Так слушают «новости дня: дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц. Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня». Но откуда этот «серебряный ливень»? «Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества... в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба». А там проносятся «цветные тени». «Московская выставка холстов лучших художников», переданная «главным Маяком Радио... посетила каждую населенную точку». А постановка «народного образования»... по радио. «Ежедневные перелеты уроков и учебников».

А мысли об удивительных городах, на которые «придется смотреть сверху». Это написано было еще в четырнадцатом-пятнадцатом годах против «...современных домов-крысятников», построенных союзом «глупости и алчности». Город есть «достояние всех жителей страны». «Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества». И вот — «все походило на

сад». И вот — мы в необычайных домах, домах на колесах, домах-мостах, домах-пароходах.

Хлебников приветствовал революцию. Теперь, считал он, его мечты могут уплотниться в действительность. Но роль пропагандиста была ему не по плечу.

Он сидел в кафе в черной сатиновой куртке с высоким твердым воротничком. На воротничке лежала крупная его голова. Взбившиеся волосы. Внимательные и вместе с тем рассеянные, излучающие глубокое сияние глаза. Бурлюк сразу же поволок его выступать. Хлебников покорно вышел.

Он стоял на эстраде, словно загнанный в угол электрическими лучами. Он что-то бормотал про себя. Публика, оглянувшаяся на него, когда Бурлюк назвал его Председателем Земного шара, сразу же потеряла к нему интерес. Гремела посуда, перекатывались разговоры. Хлебников стоял, заложив руки за спину. Совсем замолк и задумался. Наконец, его увели. В кафе он больше не появлялся. Но задержался в Москве.

Один московский врач и его жена часто бывали в кафе. В их квартиру также заходили многие, во главе с Маяковским и Бурлюком. Жена врача, добрая и предприимчивая, переселила Хлебникова к себе. Через площадку, напротив своей квартиры, врач содержал небольшую лечебницу. Лечебница к тому времени закрылась, но территория ее числилась за врачом.

Там отвели Хлебникову комнату, обеспечив его полным пансионом.

Хлебникову был выдан стол, за которым он мог работать. Вдоволь отпущена необходимая тишина, водворившаяся в безлюдном помещении. Появились необходимые книги, в частности книги самого Хлебникова. Это было совсем необычным. Хлебников никогда не владел собственными сочинениями.

Закладывался непрочный фундамент личной Хлебниковской библиотеки.

Вообще Хлебников приручался. Его приучали заботиться о себе. Например, по утрам причесываться. С этим Хлебников не справлялся. Ему вменили в обязанность являться за помощью к хозяйке. Хлебников вверял голову гребню, расплачиваясь послушанием за гостеприимство. В сущности, он ладил с хозяевами, вечерами посиживал в их гостиной. Неразговорчивый, словно с запертым ртом, откуда выбрасывались короткие, рассеченные частыми паузами фразы, он присаживался, как на насест, на краешек обитого зеленым сукном дивана. Он даже принимался рассказывать. Делился воспоминаниями о путешествиях. Подчас, сообщал о себе не совсем обыкновенные вещи. Например, что может спать на ходу. Идет по тротуару и спит, ступит на мостовую — проснется.

Иногда в зеленоватой гостиной Хлебников читал стихи. Чтение ему давалось трудно.

Он привставал у дивана и смотрел в сторону выпуклыми голубыми, потемневшими от сосредоточенности глазами. Ронял слова, комкая, подчас проглатывая окончания. Казалось, гортань не подчинялась ему, и каждый слог требует отдельных усилий. Это противоречие между внешним косноязычием и огромной внутренней языковой одаренностью лежит в ряду тех противоречий, наиболее явным проявлением которых была бетховенская глухота. Хлебников перебирал отдельные строчки. «У колодца — расколоться — так хотела бы вода». Или что-то о «душистой ветке млечного пути». Словно выламывал один за другим камешки из драгоценной мозаики.

Но и в этом мирном житье были поводы для замыкания и протеста. Дом жил бестолково и шумно. Люди толкались до утренних часов. Напрасно поварчивал хозяин, — художественный, театральный и литературный люд внедрялся во все помещения. На диванах, креслах, коврах — всюду обнаруживались неожиданные компании. Корректный доктор пожимал плечами, но выветрить гостей не удавалось. И все это соприкасалось с Хлебниковым, как ни держался он на отлете.

А главное, сама хозяйка подчас донимала чрезмерными заботами. Все делалось искренно и непосредственно, но Хлебников начал сопротивляться. Хозяйка мне как-то рассказывала,

что пыталась вразумлять Хлебникова. Пора оставить неустроенную жизнь; возможно, шла речь и о бесцельных кочевьях. Хлебников упрямо ответил, что у него особенный путь.

«У гения своя дорога», — так были переданы мне его слова.

Возможно, они звучали иначе, но что-то близкое им было. И было нетрудно представить спокойное, но упорное лицо Хлебникова, когда пытался он выразить мысль, не гордую, но лишь выясняющую положение. Что же касается до гениальности, то что заключает в себе подобное понятие? Если определяет оно полную несхожесть одного человека с другими, то Хлебников имел на него право. Ведь, вглядываясь в книги даже самых близких, он всегда мог убедиться, пожалуй, даже с недоумением и досадой, что сам выделяется из всего написанного, подобно тому, как камень выделяется из воды.

И Хлебников замыслил побег. Любая заботливость должна иметь границы. Когда, встретившись с ним впоследствии и зная, что ему негде обосноваться, я напомнил ему об обжитой квартире, он ответил непреклонным «нет».

От странствий он отказаться не мог.

Весной восемнадцатого года я присутствовал на странном собрании. Организовал его один партиец, как будто не только по своей инициативе. Ходили слухи, что в партийных кру-

гах хотят выяснить настроение поэтических групп. Вероятно, нити вели к Луначарскому. Так или иначе, собрание состоялось. В числе прочих туда приглашалась и совсем еще неопределившаяся молодежь. Были даже какие-то нормы представительства, чуть ли не по два человека от каждого возраста.

Собрание происходило в «Метрополе», где жил партиец-организатор. Было оно немноголюдным. Помню Хлебникова, Есенина, Кусикова.

Шла речь о выработке какой-то декларации. Предлагалось вносить пожелания.

Как будто Есенин тогда предложил написать декларацию прав поэта. Хлебников сидел и прислушивался.

Вдруг он поднял глову, и обозначился его высокий голос:

— Декларация прав — это не все. Вот объявлена декларация прав солдата. Из этого пока ничего еще не вышло. К декларации прав нужно прибавить декларацию обязанностей поэта.

И только к одному праву не мог он не устремиться:

— Пусть предоставят поэтам бесплатный проезд. По всем путям сообщения.

В конце апреля или в начале мая он исчез, предприняв объезд Поволжья. Начинавшая образовываться библиотека не вместилась в вещевой мешок.

Период кафе проходил под знаком «Человека». Главы поэмы читались Маяковским каждый вечер. Знакомые, никогда не теряющие выразительности интонации. Они внедрились в меня навсегда.

Поэма не помещается в кафе. Маяковскому стали тесны эти ежевечерние неразборчивые скопища. Маяковский собирается прочесть «Человека» в Политехническом. Город оклеен цветными тоненькими афишами.

— Хожу по улицам, как по собственной квартире, — отметил Маяковский, поднявшись по Тверской, всеми фасадами повторявшей его имя.

В Политехническом он внешне очень спокоен. Приступает к подаче текста без всяких предварительных слов. Вступление. Глава за главой. Умело распределяет голосовые силы. Чем дальше, тем звук резче и горячей. Толпа слушает, почти не дыша.

Маяковский кончил. На эстраду вскарабкался Бурлюк. Ему надо закрепить впечатление. Увидя сидящего в первом ряду Андрея Белого, Бурлюк приглашает его говорить. Белый отнекивается, но от Бурлюка не спастись. Белый поднимается, потирает руки, оглядывается.

Белый и сам превосходный оратор, но держится, на первый взгляд, застенчиво. Он говорит, словно думает вслух, и передвигается вдоль эстрады легкими, танцующими шагами.

Маяковский смотрит на него сверху вниз и слушает очень внимательно. «Уже то, что Маяковский читает наизусть целый вечер, и так превосходно читает, вызывает в нас удивление. — Белый отмечает значительность темы. — Человек — сейчас тема самая важная. Поиски Маяковского — поиски новой человеческой правды». Белый хвалит. Бурлюк разжигает обсуждение дальше.

«Человек» читался и в домашней обстановке в той квартире, о которой упоминалось в связи с Хлебниковым. Было поздно. Кто-то из гостей не знал поэмы. Маяковский согласился прочесть. За окнами ночь. Купола Страстного монастыря смутно светлели, усыпанные снежком. В гостиной светила настольная лампа. Вся комната обтянута тенями. Чернел тяжелый выступ рояля. Маяковский стоял у кресла с высокой спинкой.

Читал он вполголоса и очень вдумчиво. Почти не двигаясь, словно беседовал сам с собой. Казался он очень высоким в сравнительно небольшом помещении. Угрюмоватым и почему-то одиноким среди сумеречного уюта комнаты.

Потом спускались мы по темной лестнице, не разговаривая. Третьесортный актер сунулся к Маяковскому с замечанием:

— Вы неправильно произносите слово солнце». Надо говорить «сонце», а не «солнце».

Голос Маяковского раздался из темноты:

— Если я скажу завтра «соньце», вы все должны будете так говорить.

— Вот как! — опешил актер.

«Человека» удалось издать. Вышло и второе издание «Облака», на этот раз без цензурных пропусков.

Маяковский принес книги в кафе. Он смотрел на толщину корешков и радовался плотности томиков.

— Люблю, когда корешок толстый. И чтоб фамилия на корешке.

Он продавал их и здесь, и в Политехническом, мгновенно придумывая веселые надписи. Или просто надписывал фамилию и рекламировал возросшую от этого ценность книги. Несколько раз я помогал ему нести «товар». Из Политехнического или из гостиницы, где он жил. Номер гостиницы в Салтыковском переулке ничем не напоминал апартаментов Г. Голо, бесприютно и необжито. Ничего, говорящего о профессии и склонностях жильца.

Когда шли мы после выступлений по Москве, Маяковский, только что оживленно беседовавший с публикой, становился непроницаемо молчаливым. Он шагал, обернув горло шерстяным кашне, концы которого свисали на спину и грудь. Зажав сверток с книгами подмышкой, промеривал улицы широкими шагами. Невозможно было нарушить его молчание. Слова словно отскакивали от него. И, казалось, не бывает на свете более замкнутых, более суровых людей.

— Я никогда не оставался без денег, — однажды весело расхвастался Маяковский. — Вот, посмотрите, как я одевался.

Он вынул фатоватую фотографию, где стоял он, украшенный цилиндром.

— Я никогда никому не завидовал. Но мне хотелось бы сниматься для экрана.

И он со вкусом расписал с эстрады все удовольствия такого занятия.

— Хорошо бы сделаться этаким Мозжухиным.

Возглас Маяковского был услышан хозяевами кинофирмы «Нептун».

Это было семейство Антик, издателя знаменитой некогда «Универсальной библиотеки». Семейство посещало кафе — отец, мать и сын. Они увлекались Маяковским и по-своему любили его.

— У него замечательная внешность для экрана, — убежденно говорил мне Антик. — Он мог бы сделать блестящую карьеру.

Маяковского пригласили работать.

Он сам соорудил сценарий по «Мартину Идену» Джека Лондона. Эту отличную, многим родственную Маяковскому и очень любимую им историю он перекроил на русский лад. Мартин превратился в футуриста и вел борьбу с академиками. В одном из кадров он врывался в их среду и свергал бюст Пушкина.

Вечерами Маяковский рассказывал о съем-

ках. Приносил снимки, радовался, что его портрет в роли Ивана Новы помещен в театральном журнале.

Кусок действия происходил в кафе.

Нас пригласили на окраину Москвы, в расположенное там ателье. Нас ожидало там кафе поэтов, воспроизведенное из фанеры, расписанной соответственно Бурлюком.

Был ранний весенний денек, когда снег намокал и таял. Пропитанный водой, он лежал на незамощенной земле двора. Бучинская сбросила обувь и побежала по теплым проталинам. Всем было весело и необычно. Никто из нас не попадал раньше на съемки.

Маяковский чувствовал себя хозяином. Удивительно подходило к нему все это производственное неустройство обстановки. Дощатые экраны, попадающиеся на пути. Огромные шлемы «юпитеров» с толстыми проводами, путавшимися под ногами. Рабочие что-то сколачивали и передвигали. Часть навеса неожиданно обрушилась, едва не ударив одну маленькую поэтессу. Маяковский подхватил ее на руки и вынес, будто из горящего дома. Довольный, деятельный, ко всем расположенный, он наполнял своим присутствием павильон.

Режиссер рассадил нас за столиками.

Было забавным это повторение привычной обстановки, перенесенной в новую область. Будто события, которые вспоминаешь. Они и действительны, и вместе с тем не существуют.

Напряженные голубоватые лучи с шипением накрыли столы.

Мы разговаривали, смеялись и чокались. Бучинская танцовала на скатерти. Чтобы не сбиться с ритма, она читала стихи Каменского под вламывающуюся сбоку команду режиссера. В кафе вошел Маяковский. Мы приветствуем его, размахивая руками. Наши голоса не попадут на экран, но мы и не нуждаемся в этом. Мы приветствуем живого Маяковского, а не выдуманного героя картины. Да и он сам в шелестящем огне прожекторов движется, нисколько не изменившийся. Он изображает себя самого. Та же кепка, тот же бант, папироса. Только разве чуть медленней разворачиваются жесты под все проницающим глазом объектива. Глазом, сосредоточившим в себе внимание будущих зрителей.

Потом снимали нас отдельными группами. Заставляли выступать на эстраде.

Картина называлась «Не для денег рожденные». Я в прокате ее не видел.

11

Программа в кафе оканчивалась. Разбредался народ. Задержавшись, потолковав о делах, мы направлялись по домам. Неотделимы от жизни кафе эти поздние московские путешествия. Темнота в городе настолько привычна, что когда однажды почему-то Тверской бульвар был осве-

щен, было страшно итти по его дорожкам. Неприятно, что ты отовсюду заметен.

Иногда возле кафе на Тверской сразу же встречали прохожих конные патрули. Красная гвардия проверяла документы. И дальше идешь заглохшей Москвой мимо накрепко заколоченных, заваленных дровами подъездов.

Гулко звучат шаги. Неподалеку загрохотали выстрелы. Сани летят Спиридоновкой. Извозчик приостанавливается и предупреждает:

— Никитской не ходите. У Никитских ворот стрельба.

Но Никитскую нужно пересечь.

Настороженно пережидаешь встречного. Кто знает, какие у него намерения. Может, этот набросится снимать шубу. А прохожий, верно, побаивается тебя.

Из-за угла выныривает автомобиль. Фонари потушены. Стремительный черный корпус. Может, Гуго это промчался мимо на одну из своих загадочных операций. Тишина. Неметеный снег под ногами. Огромные, словно вымершие дома.

И только прекрасный многоколонный особняк сияет на Новинском бульваре, как длинный фонарь. Кажется, что внутри бал. Тени скользят за желтыми высокими стеклами. Вчера особняк был темен и пуст. Значит, сегодня им завладели анархисты.

И снова узкие ущелья переулков. Иногда расступаются они, образуя площадь со сквериком. Все это районы недавних боев. Стены

исколупаны пулями. Снаряды выгрызли облицовку и кирпич на фасадах. Стреляли вот отсюда, из-за угла, оперев винтовку о выступ подоконника. А здесь стояла в то же время очередь за продуктами и разбегалась, когда снаряды рвались вблизи. Тут над головой моей звякнуло фонарное стекло, и мелкие осколки упали на тротуар. И бои еще предстоят.

У Смоленского рынка вздрагивал костёр. Сгрудились люди. Красные отблески на лицах, на папахах, на ружейных стволах. Это красногвардейский патруль. Здесь можно остановиться и передохнуть.

Глава пятая

1

Кафе закончило свое существование. Последнее время все начали им тяготиться. Бурлюка потянуло на Урал, где привык он трудиться над холстами. Маяковскому надоела ежевечерняя повинность. Был устроен последний закрытый вечер, со стихами, танцами, разговорами до утра.

Однако кафе породило потомство. Почти сразу же после его закрытия начались выступления поэтов в кафе «Трамбле» на углу Петровки и Кузнецкого переулка. Затем в кафе «Десятая муза» в Камергерском, в кафе «Элит» на Софийке. Впоследствии в кафе «Бом» на Тверской. Образовавшийся осенью восемнадцатого года Союз поэтов на долгое время осел на той же Тверской в кафе «Домино».

Бумажный кризис, прекращение деятельности ряда издательств, разруха типографского дела в годы гражданской войны — причины усиления такой «устной» литературы. Но все эти но-

вые предприятия сильно отличались от первого образца. Дух импровизации в них исчез, был снят лозунг «эстрада — всем». Исполнялась твердая программа, сборный литературно-музыкальный концерт. Выступали писатели разных направлений и возрастов, помещение ни для кого не было своим. И расчет в этих развлекательных заведениях был явно на другую аудиторию.

В кафе футуристов, при всей смешанности состава, господствовала революционная молодежь. Представители буржуазии жались к сторонке. Они терпелись там, поскольку еще в Москве имели они условное право жительства. Не к ним обращался Маяковский, читая свои оды революции. Их искусство и сами они ни в какой мере не были там хозяевами. Их громили, над ними издевались.

Иное дело в «Музыкальной табакерке», как стало называться кафе «Трамбле». Круглая комната с плотно опущенными шторами наглухо отделена от улицы. На столиках лампочки под цветными шелковыми абажурами. Полумрак, уютная тишина. Перед началом программы тихое позванивание пианино — «Музыкальная табакерка» Лядова. Публика одета изысканно, — все так, «будто ничего не случилось». Певица исполняет «интимную» песенку об арлекине, отравившемся на маскараде. Актриса рассказывает фельетоны Тэффи с дамскими довоенными остротами. «И остров мой

опустится на дно, преобразясь в жемчужные сады», воркует маленькая, вернувшаяся из Парижа, поэтесса. Напудренный поэт читает с кафедры в полумраке: «Поверх крахмальных белых лат он в сукна черные затянут. Его глаза за той следят, за той, которою обманут». Артист Раневский мелодекламирует о маркизах. Программы носят экзотические заглавия, увенчиваясь «вечерами эротики». Кроме бесцеремонной московской публики, здесь появлялись петроградские акмеисты. Впервые в «кафейной» обстановке выступил здесь и Брюсов.

Он держался в кафе точно так же, как и в апартаментах «Свободной эстетики». Прежний замкнутый литературный быт кончился. Брюсов был дальнозорок и умен. Его пригласили, он аккуратно приехал. Встреченный почтительными учениками, он прошел к одному из столиков. Сидел, помешивая кофе в стакане, в черном сюртуке, склонив голову набок. Слушал, как читает молодежь. Легким кивком выражал одобрение прочитанному. Сам поднялся на деревянную кафедру, сообщил свое новое стихотворение. Четко переписанное на небольшом листке, вероятно, приготовленное сегодня. «Ведь стихи надо писать ежедневно, как пианисту упражнять свои руки», — такова была одна из его заповедей.

Профессор поэзии, он и в кафе работал точно и добросовестно.

Он был таким же, каким видели мы его у черной школьной доски в студии поэтов. Эта студия, образовавшаяся тою же весной, вела случайное свое существование на Молчановке. Кажется, там находилась гимназия, и вечерами она пустовала. Поэты, большинство которых перезнакомилось зимою в кафе футуристов, рассаживались за низкими, не по росту, партами. Лекции читались Белым, Гершензоном, Вячеславом Ивановым. Брюсов преподавал метрику и ритмику.

Это было скучновато и беспощадно. И строго, как изучение математики.

Стук мелка. Брюсов выводит формулы. Строчки разрезаны по слогам. Четкие дужки, восклицательные значки, отмечающие ударные и неударные. Высокий гортанный голос лектора. Повернутое в профиль желтоватое неправильное лицо с темной бородкой. Ни одного лишнего слова. Невольная боязнь — вдруг вызовет к доске повторить. Казалось, это не имеет отношения к поэзии. К «вольному искусству», о котором говорит пушкинский Моцарт. И в то же время такие занятия представлялись необходимыми. Создавалась трезвая и чистая атмосфера труда. Возникало чувство: поэзия — труд. Счастливое ремесло — высокое и сложное. Искусство — профессия, не терпящая дилетантизма.

Атмосфера честности окружала Брюсова.

Та же атмосфера, которая, при всем различии внешних обликов, всегда ощущалась вокруг Маяковского. И странно сближаются через много лет в моем представлении эти люди.

Так вот таким практическим преподавателем «науки о стихе» оставался Брюсов и на эстрадах кафе.

В «Десятой музе» был устроен «вечер импровизации». Затея, рассчитанная больше на производство курьезов, чем на получение толковых результатов. Публика заранее подшучивала над «импровизаторами». В вазу на сцене опускались записки. В зале со столиками выключен свет.

Поэты действительно тонули на глазах. Вот поэтесса сбилась с размера и запнулась. Беспомощным жестом и обворожительной улыбкой пытается возместить она недостающие слоги. Поэт начинает развязно, но плетет распадающуюся на строчки бессмыслицу. Другой, обычно бойкий и едкий, после каждого слова застревает на мели. Из публики несутся остроты, мало способствующие творческому процессу.

Дело доходит до Брюсова. Он на сцене. Разворачивает записку. Тема — что-то вроде «любви и смерти» — слишком отвлеченна и обща. Брюсов подходит к рампе. Произносит первую фразу.

Медленно, строка за строкой, не запинаясь, не поправляясь на ходу, он работает. Тема ветвится и развивается. Строфа примыкает

к строфе. Исторические образы, сравнения, обобщения, куски лирических размышлений. Вдобавок он импровизирует октавами, усложнив себе рифмовку и умышленно ограничив возможности композиции. Нельзя сказать, чтобы это давалось ему легко. «Вперед, мечта, мой верный вол». Запавшие глаза сухи и сосредоточенны. Зал примолк, люди боятся двинуться, чтоб не нарушить напряженную собранность поэта. Брюсов продолжает. Удивление переходит в восхищение. И вот облегченный жест рукой.

— Я дал вам девять правильных октав, — бросает он гортанным, картавым голосом все закругляющие последние строки. Смолк. Резко дернулась голова. Мгновенная улыбка и обычная серьезность в ответ на бешеные аплодисменты.

Продемонстрировав высокую степень словесного мастерства, профессор искусств сходит с подмостков.

В этих кафе Маяковский не выступал. Он был непреклонно тверд в своих литературных позициях. Он мог сохранять хорошие отношения с отдельными несогласными с ним поэтами. Но это не заставляло его итти на уступки. Человек, даже к нему расположенный, оставался его литературным врагом. Без всякой скидки на личные отношения, Маяковский его беспо-

щадно громил. А в какой-нибудь «Музыкальной табакерке» и среди читавших и среди публики были и явные политические враги.

Иногда он заходил с улицы, громко здоровался и разговаривал со знакомыми. Он умел держаться хозяином среди молодежи, добродушным или резким, смотря по людям. Однажды на большой вечер в Колонном зале он пришел с опозданием. Читал поэт, близко знакомый Маяковскому. Маяковский медленно пересек зал. Публика оглянулась. Поэт остановился. Добродушным театральным жестом Маяковский протянул руку младшему товарищу. И, поздоровавшись, сел в первый ряд, разрешая чтение дальше.

Если в кафе публика подбиралась не враждебная и настойчиво требовала стихов Маяковского, он вставал и читал среди столиков.

Только на «вечере эротики» он разрешил себе подняться на кафедру. Он не слушал специально сервированной программы «от классиков до наших дней». Войдя с улицы, не снимая кепки, он занял место, вклинившись в номера. Сообщил, что прочтет экспромт, заглянул в записную книжку. Спокойно и неторопливо он обратился к тем, кто с вычурными жестами «тоненьких ручек» собрался сюда, чтобы славить наперебой

таинства соитий и случек.

Голос его издевался, хотя Маяковский был совершенно невозмутим. И только к концу выступления он отчеканил несколько громче свое заключительное пожелание:

Ни любви не знать,
Ни потомства вам,
Импотенты и скотоложцы!

2

Бурлюк собирался уезжать. Весна. Пора браться за кисть. Тщательно запаковывает он увесистую корзину, наполненную книгами, закупленными для семьи. Туда же погружаются газетные вырезки, афиши, всевозможные свидетельства о протекшем сезоне. И большие запасы красок, которые обильно переложит он на холсты.

Прощание с Москвой должно произойти в соответствующем футуристским лозунгам стиле. Недаром повсюду провозглашалось, что искусство должно выйти на улицу. Подхватив под локоть две картины, Бурлюк отправляется на Кузнецкий Мост.

В кармане пальто гвозди и молоток.

Подойдя к облюбованному дому, Бурлюк раздобывает у дворника лестницу. Лестница ставится на тротуар, верхний конец ее упирается во второй этаж. Бурлюк с трудом карабкается по перекладинам. Лестница слишком узка для него.

Зацепляясь о загородившую тротуар лестницу, публика задерживается, останавливается. Поднимает головы. Бурлюк, рискуя упасть, оборачивается лицом к собравшимся.

Он потрясает молотком и произносит короткую речь. Об искусстве, украшающем город. Призыв к художникам выйти из выставочных зал и музеев. Надо одеть фасады зданий картинами, раскрасить дома, расписать их стихами. Фразы, бросаемые с пожарной лестницы, приобретают сейчас осязаемый смысл.

Москвичей в ту пору трудно было удивить. Слишком много в городе происшествий. И достаточно забот каждый день. Взять хотя бы усиливающийся голод. Плохо с хлебом, исчезают продукты. Случайная, наспех образовавшаяся толпа довольно спокойно относится к событию. Оно не выдерживает сравнения с начинающейся гражданской войной или даже с ночными налетами анархистов. Знакомые хлопают Бурлюку. Незнакомые молча его рассматривают. Мальчишки поддерживают лестницу.

Две картины прочно прибиты к стене. Одна — женский портрет. Другая — какое-то символическое шествие на фоне бурокрасного пейзажа.

С тротуара картины кажутся небольшими и не слишком бросаются в глаза. Они провисят в течение ближайших месяцев, не смущая и не беспокоя горожан.

В подражание Бурлюку, через несколько дней Г. поставил себе собственноручно памятник. Небольшая гипсовая статуя обнаженного «футуриста жизни» простояла несколько часов в сквере перед Большим театром. К вечеру ее расколотили мальчишки.

Таково последнее выступление Бурлюка в Москве. Он не предполагал, что больше не вернется в этот столь знакомый ему город. Россию разрезала на части война. Бурлюк оказался на территории белых. Не имея возможности пробиться в РСФСР, опасаясь расправы со стороны белогвардейцев за футуризм, Бурлюк поехал с семьей в Японию. Оттуда перекочевал в Соединенные штаты, где находится и сейчас. «Отец российского футуризма», он издал там множество тетрадей с рисунками, манифестами и стихами. В доходивших до нас изданиях Бурлюк проявлял себя, как советский человек. Но уровень его представлений о нашей стране оставался тем же, что был в год отъезда. И те же приемы работы, те же футуристские лозунги, безвозвратно отслужившие свою службу. «Человек будущего», он при жизни превратился в музейный экспонат. О нем вспоминают только в связи с Маяковским. Странная участь его — очередное доказательство, что вдали от родины трудно сохранить творческую жизнь.

8

Весною Маяковский устроил прощальное выступление. Оно происходило в кафе «Питтореск» на Кузнецком, в этом последнем предприятии Филиппова. Продолговатый зал с высокой вогнутой крышей имел вид вокзального перрона. Якулов расписал его ускользающими желто-зелеными плоскостями и завитками. Плоскости кое-где сдвигались в фигуры. Раскрашенными тенями распластывались они по стенам. Над большой округлой эстрадой парила якуловская же, фанерная, условно разложенная модель аэроплана. Предсмертный всплеск буржуазного ресторанного «строительства», выдуманный «московский Париж».

Маяковский вышел на эстраду сильный, раздавшийся в плечах. Он будто вырос за эту зиму, проникся уверенной зрелостью. Он был в свежем светлокоричневом френче, открывающем белую рубашку.

Он объявил, что недавно читал на заводе, и рабочие понимают его. Он преподнес это нарядной публике как лучшее свое достижение. Его обвиняли всегда в непонятности. И вот оно — опровержение. Он читал твердо и весело, расхаживая по широкой эстраде. Это были много раз слышанные стихи, часто знакомые до последней интонации. И многое из прочтенного тогда я слышал от него в последний раз. Маяковский держался как человек,

знающий свое место, своевременно живущий, правильно помещенный в сегодняшнем дне.

В нем ощущался мускулистый оптимизм, которому, казалось, не обо что разбиться.

Он прочел тогда и самое свое новое. О том, как лошадь поскользнулась на Кузнецком и ее окружила праздношатающаяся толпа. И Маяковский подходит и обращается к лошади.

— Детка, — говорит он мягко и убедительно, — слушайте. Вы думаете, вы их плоше. Знаете, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь.

И лошадь, ободренная его доброжелательством, собралась с силами, поднялась, побежала.

Хвостом помахивала,
Рыжий ребенок.
Пришла веселая
И стала в стойло.
И все ей казалось, —
Она жеребенок.
И стоило жить
И работать стоило.

4

В конце мая я поехал в Нижний-Новгород. Там узнал я, что проезжал мимо Хлебников. Прочел несколько оставленных им манифестов. Манифесты были сочинены в сообществе с нижегородскими поэтами и предназначались для собиравшегося в Нижнем альманаха «Без'муз».

Мне нужно было попасть в Самару. На пароходе шли различные толки. Стало известно, что до Самары добрались неведомо откуда взявшиеся чехословаки. Задержатся они или пройдут? Впрочем, билет до Самары мне был продан.

В Казани путешествие пресеклось. Розовые суда общества «Самолет», белые — «Кавказ и Меркурий», широкобокая, устойчивая «Русь» и множество других — буксирных, грузовых, пассажирских, — все они в несколько рядов стояли у пристаней, подняв черные, лоснящиеся, прочно склепанные трубы. Ехать дальше нельзя. Путь заперт на неопределенное время.

На утро я вышел на пристань, кишащую озабоченным людом. Передо мною с мешком в руке стоял задумавшийся Хлебников.

Я окликнул его, и мы вернулись на пароход. Мы сели в рубке третьего класса и прежде всего раздобыли кипяток. Мешок Хлебникова на этот раз был щедрым. В нем заключались баранки и яйца. Мы закусили, обсуждая положение. Перерезанная Волга была нам не на-руку. Для Хлебникова — Астрахань, для меня — Самара являлись единственными в тот момент материальными базами.

Этот день мы провели в прогулках, нельзя сказать, чтобы очень веселых. Мы отправились к пыльно серевшей Казани, расположенной поодаль от берега. Брели травянистыми полями, отдыхали, обменивались предположениями. Ши-

рокое волжское небо остановилось над нами во всей своей знойной ясности.

— Можно итти пешком, — боролся с преградами Хлебников. — Только лапти нужны.

Ближе к городу на рельсовых путях теснились раскрытые теплушки. Ими завладели цыгане. У насыпи трепетали костры.

— Можно жить с цыганами. Ночевать с ними в теплушках.

Мы обмеривали город, густо пересыпанный пылью. Хлебников тут жил у кого-то. Но хозяева, как водится, уехали. Мы пошли по другому адресу. Но и там никого не нашли. Горький расчет на чужие квартиры — всегда непрочный и ненадежный. Усталые, изголодавшиеся, вот мы снова на пристани.

Хлебников рассматривал лотошников, торговавших вроссыпь папиросами. У этих людей было твердое занятие.

— Можно и нам продавать папиросы.

И, наконец, вспомнив о своей профессии, он внес последнее предложение:

— Мы будем читать стихи. Нас за это будут кормить.

Пароход, привезший меня, собирался в обратный путь. Выяснилось, что с Самарой плохо. В последнюю минуту мы взобрались на палубу. По неиспользованным до конца билетам нас согласились доставить обратно в Нижний.

Мы сели на палубе, простились с Казанью. Достали листки, попробовали работать. По па-

лубе прошелся дождь. Мы переселились в рубку. Там, сидя друг перед другом, мы провели ночь за столом.

Хлебников задумывался и молчал. Иногда голова его опускалась на руки. Я задремывал временами. Вдруг Хлебников вскидывал лицо и озирался, недоумевая. Темные зеркальные стекла. Вода шуршала вокруг парохода. Хлебников вздыхал и весь вздергивался, словно готовый куда-то бежать. И вламывался рукою в волосы, перетряхивая их пушистые пласты.

В Нижнем наши пути разошлись. Но однажды Хлебников встретился опять. Он пришел к поэту Ивану Рукавишникову, бывшему собственнику знаменитого в городе особняка. Рукавишников сам отказался от своих наследственных богатств. Местные власти, хорошо его знавшие, позволили остаться ему в нескольких маленьких комнатках.

Но так как дом вообще был свободен, Рукавишников пригласил нас в большую залу. Нижегородские поэты, сгруппировались вокруг стола. Неожиданно появился Хлебников в свалявшемся пыльном костюме. Быстро поздоровался со всеми, взъерошенный, воинственный и колючий.

— Я провел эти ночи... в обществе пристанских бродяг...

Он знал, что среди присутствующих находится человек, взявший у него стихи для сбор-

ника. Не заплативший даже гостеприимством, которое вряд ли могло быть ему в тягость.

Хлебников стоял, откинувшись, у стола.

— Я люблю. Людей. Сло́ва, — отчеканил он без всякого повода. Но, впрочем, остался и молча сидел в кругу лиц, перемывавших кости поэзии.

Вскоре я вернулся в Москву. Маяковского там уже не застал.

Глава шестая

1

Летом двадцать первого года я встретился непосредственно с Маяковским в последний раз. Годы гражданской войны я провел на службе в Самаре. Годы, полные напряженной лекторской работы в армии. В сыпнотифозном городе, настолько перегруженном, что люди жили в передних, на лестницах, по углам. В то же время это были годы учения, годы нового, более основательного знакомства с литературой. Встречи с «врагами» — классиками, удивление перед богатством «классического наследия». Враги оказались друзьями. Их пришлось полюбить и принять.

Это изменяло отношение к футуризму.

Я приехал в двадцать первом году в Москву в достаточно неопределенном состоянии. Естественно было бы сразу пойти к Маяковскому. Но не было прежнего безоговорочного признания всех его слов. Не так давно призывал он

палить по музеям, свергать Пушкиных, расстреливать Рафаэля и Растрелли. Сейчас просто отметать крайности футуризма. Легко отслаиваются внешние полемические наслоения. Тогда многое воспринималось иначе.

К тому же я сделал ошибку. Я не учел резкой размежевки между поэтами, происшедшей в то время, когда я не жил в Москве. Я выступил в кафе «Бом», постоянном пристанище имажинистов. Выступление было случайным, обусловленным личными знакомствами с отдельными членами этой группы. Вскоре даже такие отношения были решительно прерваны. Но Маяковский узнал о выступлении. Мы столкнулись с ним на Арбате.

— Здравствуйте, имажинист Спасский.

Я почувствовал его недовольство.

И все-таки он дал мне свой адрес. Я пришел в квартиру Бриков на Водопьянный переулок. Маяковский расхаживал по комнате, искоса поглядывая на меня. Я беседовал с Бриками, рассказывая о своей работе. Я выкладывал свои сбивчивые теории. Футуризм изжит, период полемики с прошлым кончен. Предлагал синтез между футуризмом и классиками. Маяковский вытянулся на диване. Выглядел он усталым и мрачным.

— Значит, получится что-то вроде академического футуризма, — прогудел он, глядя мимо меня.

Этой фразой была поставлена точка. Пришел Каменский. Исполнял поэму «Жонглер», состоящую из заумных звуковых фейерверков. Я простился и вышел на улицу. С тех пор я воспринимал Маяковского только извне.

Вот он спускается по Кузнецкому быстрой и размашистой походкой. Широкоплечий, всегда резко и отчетливо отделяющийся от остальных. В слегка сдвинутой назад мягкой шляпе, в свободном сером костюме. Он не располнел, но как-то раздался вширь. Невольно оглянешься ему вслед. Маяковский серьезен. Он думает. Он работает. Трудно решиться его окликнуть.

А столбы и рекламные щиты оклеены свежими афишами. Его фамилия громыхает длинным рядом крупно отпечатанных букв. На афишу всегда тянет посмотреть.

— Афишу тоже надо составить умеючи. Я вот несколько вечеров думал, прежде чем нашел название, — так рассказывал он в Политехническом музее в 1921 году.

— И вот получилось — «Дювлам».

Слово «Дювлам» анонсировалось предварительно, въедалось в память. Потом уже появились пояснения: Маяковский справляет Дювлам — двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

В теплой куртке (в музее не топят), в круглой барашковой шапке он стоит на обжитой эстраде. Как всегда, эстрада переполнена слушателями и сливается с амфитеатром скамей.

Маяковский отчитывается в сделанном, проходя по всему своему творчеству. Весело, в быстром песенном темпе читает он частушки о куме, попавшей к Врангелю, «Левый марш», отрывки из поэм. Кончает недавно написанным «Солнцем», подает его звонко, уверенно, радостно.

— А ведь замечательно, — оглядывается сосед.

И весь зал колышется, улыбается.

Бодрое восхищение переполняет грудь.

Сквозь все теории, над всякими футуризмами — живой облик самого живого поэта.

Умея говорить широко и просто, он не отказался от гиперболической метафоры, сквозь которую, как в лупу, разглядывал «мельчайшие пылинки живого». Он сберег и свободный стих и товарное погромыхивание всего звукового состава. Его средства выразительности только окрепли. Они «выполнились», как говорят о стратостате, когда он, достигая определенных воздушных слоев, наконец разглаживает все морщины и определяется как туго налитый законченный шар.

Его речь, даже в агитках, не имеет ничего общего с удешевленной простотой, какая часто предлагается на прилавках нашей поэзии. Это речь — тяжелая и резкая, речь основательная, рассчитанная на добросовестное внимание. Словно плуг, глубоко взрыхляющий наше сознание.

Это не речь, завещанная девятнадцатым столетием, иная, не пушкинская речь.

Пушкин был не только зачинателем нового, поэтического языка, но и величайшим завершителем восемнадцатого века. Он вобрал в себя весь прошлый опыт. Он очистил стиховое наследство от многих примесей и шлаков. Но Пушкина подготовляли и Батюшков, и Жуковский, и Державин. Пушкин был художник, включающий в себя, впитывающий все мировые ценности, постоянно оплодотворяющийся ими. Пушкин — великий положительный ответ на раздавшийся за сто лет перед ним взрыв петровской реформы. Так и говорилось о нём.

Маяковский — только зачинатель. Первое слово, сказанное поэзией победившего пролетариата. Весь пафос его — в отталкивании, в уходе из «барских садоводств» до него осуществленной поэзии. И потому он не мог не быть новатором.

Маяковский устраивает «чистки поэтов» с точки зрения пригодности их для революции.

«Новое искусство — это не повторение пройденного», — вот первое его напоминание. Новое искусство — не только новая идеология, но и радикально обновленное мастерство. Стертая метафора — прохода ей нет. Расхлябанный стих — этому вход закрыт. Копеечные, выклянченные на бедность рифмы. . . Нет, напрасны, вплоть до нашего дня, попытки упростителей, раскланиваясь, проскользнуть мимо Маяков-

ского. Напрасны надежды умилостивить Маяковского разговорами о том, что он и великий, и покладистый, и общедоступный. Глубокая поэзия всегда общедоступна, как земля, по которой каждый может ходить беспрепятственно. Но чтобы извлечь из земли все ее ценности, требуется проникнуть в ее недра. А это связано с некоторой работой, о которой хорошо знают шахтеры.

В теплой куртке, в круглой барашковой шапке Маяковский входит в кафе «Домино». Поздно. Во второй, почти пустой комнате он расхаживает взад и вперед. От стены к стене, с механической точностью маятника. Он бормочет что-то про себя. Он строит новую вещь. В такую пору ему не сидится дома. Весь город — его писательский кабинет.

Или он встретился с поэтом и не тратит времени на предварительные беседы. Столкнулся на улице с Пастернаком. Они не виделись в продолжение лета. Маяковский затягивает его в то же «Домино». В задней комнатке — правление Союза поэтов. Члены правления выскакивают из двери. Вероятно, их попросили удалиться. Предстоит достаточно важное дело. Маяковский присаживается на диване. Пастернак читает недавно написанное.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?

доносится через фанерные стенки его взволнованный голос.

Не наш ли омет? Доходим — он!
Нашли! Он самый и есть.— Омет.
Туман и степь с четырех сторон.

Маяковский не обсуждает прочитанного. Если стихи ему нравятся, он их запоминает.

— И плавает плач комариный, — повторяет он, выходя.

За стихи надо уметь бороться. Их считают непонятными. Посмотрим. Стихи надо внедрять в читателя. Непрестанно и терпеливо их растолковывать. Они раскроются, если нет умышленного сопротивления, поверхностного пренебрежения к поэтическому труду. Но попадаются дешевенькие критики, бойкоречивые, бесхребетные «журналистики». . . Тогда Маяковский беспощаден. Он высмотрел одного из них. Его голос рубит наотмашь. Руки сжались, лицо напряглось.

— Не спишь ночей, изобретаешь, придумываешь, а тут является такой паучок!

Рецензент стоит перед эстрадой. Возможно, он намеревался возражать. Но словно камни валятся ему на плечи.

Последнее впечатление. Вестибюль театра. В театре идет «Командарм 2» Сельвинского. Антракт. Маяковский стоит около лестницы. Волосы его заброшены назад. Весь он заметен, красив, рельефен. Естественная, свободная манера держаться. Свежий костюм, цветная шелковая рубаха. С ним женщина — высокая блондинка. Маяковский громко пошучивает,

— Что остается от всего действия? Только и остается: «Петров, подкиньте в печку дров». Скучно. У меня на «Клопе» веселей.

И вместе с женщиной движется к выходу.

2

Зимой двадцать первого — двадцать второго года я увидел Хлебникова на Арбате. Он отпустил небольшую бородку, придававшую мягкость и значительность лицу. Улыбался радушно и удовлетворенно, говорил со спокойной уверенностью. С этой встречей ладило все окружающее — неморозный, украшенный снегом, в сизых сумерках зимний Арбат. Я отметил неожиданную привлекательную степенность Хлебникова, а он добродушно принимал мои пошучивания. Он рассказывал на ходу о своих планах. В Астрахани его приодели домашние. Теплая круглая шапка, опушенный серый тулупчик.

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове,
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве.

Он сообщил, что много написано и многое надо издать. Мы встретились и в кафе Союза поэтов.

Там сидели и под Новый год, не зная, куда приткнуться на этот вечер. За маленьким столиком напротив эстрады, очень попросту, очень

мирно. И, как всегда бывало при общении с Хлебниковым, — немного бесприютно и отъединенно от всех.

Под весну он оказался без жилья и перебрался в комнату моего брата.

К весне настроение Хлебникова сгустилось. Он становился все тревожнее.

Я не следил тогда за его делами, но, очевидно, дела клеились плохо. Что-то стопорилось, не выкраивалось с изданием. Выпустить же сборник представлялось ему необходимым.

Мне помнится одно возвращение в здание Вхутемаса, где Хлебников жил, по темным, путаным переулкам Мясницкой. Почему-то подумалось в тот раз, что пора Хлебникову упорядочить его сочинения. Я говорил, что вот все разбросано, ряд брошюр, затерявшихся в пространстве. Где все это? Нет настоящего сборника.

Он откликнулся с неожиданной страстью. Говорил озабоченно и взволнованно. Он не жаловался прямо ни на кого. Но шла речь о небрежном отношении к его рукописям. Досада на несбывшиеся планы На в чем-то неподдерживавших друзей.

В этот период люди, окружавшие Хлебникова, пытались настроить его против Маяковского.

К весне Хлебников устал окончательно. Хмуро посиживал в комнате брата. Бросался к столу, раскладывал рукописи. Затихал над

ними и вздыхал. Выбегал к Брикам, зарядившись беспокойной решимостью. Однажды прихватил и меня. Торопился, словно желая что-то объяснить. Резко выкрикнул свою фамилию на раздавшийся из-за двери вопрос. Бриков не было дома: Хлебников метнулся дальше. Будто разыскивал кого-то, чтобы поделиться неотложными соображениями.

Примерно в мае он оставил брата и вскоре выехал из Москвы.

Летом пришло известие о его смерти.

Его образ как бы растворяется в пространстве. Последние встречи не сохранились в памяти. Хлебников словно удаляется постепенно, держа в руках вещевой мешок. Еще тянутся какие-то воспоминания, отрывочные и не прикрепленные к датам. Вот я вхожу в одну из комнат, где Хлебникову предоставлен ночлег. Весенний полновластный рассвет. В окнах розовые башенки Страстного монастыря. Я проговорил всю ночь и не ложился. Хлебников вытянулся, не раздеваясь, на диване. В этой удобно обставленной комнате он ночует, будто в вагоне, на диванной подушке, прикрытый осенним реденьким своим пальто. Голубые глаза его открыты, он смотрит на меня неподвижно.

— Вам не спится, Виктор Владимирович?

— Нет. Спится. — Он ныряет под пальто.

Я улыбаюсь. Мне почему-то весело. И я обрадован этим коротким разговором.

Я жил в Ленинграде. Помню, попались мне американские стихи Маяковского. «Бруклинский мост» показался удивительным. Захотелось Маяковскому написать. С этой мыслью я долго носился. Представлялось, я пошлю письмо. И пусть Маяковский не ответит. Письмо, в котором я поблагодарю его за все то, что он вызвал в моей жизни. И как человек, и как поэт. Я думал об этом на его предсмертной выставке. Проглядывая выставку, я возвращался к юности. Собственная жизнь переживалась снова, освещенная огнями дат и событий. На выставке были даже те ранние плакаты, подобный которым привел меня в трепет в Тифлисе. Может, письма бы я так и не написал, но думать о нем было хорошо.

«Литературная газета», вышедшая в день смерти Маяковского, еще хранила в себе неоднократно повторенную его фамилию.

Газета оповещала о ряде выступлений, которые должны были произойти в ближайшие дни, о собраниях, на которых Маяковский будет присутствовать. Указывались часы и помещения.

До последнего момента Маяковский весь принадлежал настоящему — данному дню, текущим интересам, своей эпохе. Он не заботился о будущем. Ему нехватало для этого времени. Он был перегружен повседневной работой. Он прези-

рал посмертную славу. Ему были смешны где-то поджидающие его бронзы и мраморы.

Посмертная слава, конечно, настает с той же неуклонностью, с которой после ночи наступает утро. С большими и мелкими следствиями. Со статьями, с исследованиями, с заучиванием наизусть в школах, со строчками, которые знают взрослые и повторяют маленькие ребята. Облик художника становится величав и спокоен, войдя в семью может быть и отрицаемых им предшественников. И тогда кажется странным, что этот художник был живым. Странно представить сейчас живым Пушкина. И понять, что на слово «Шекспир» некогда откликался обычного вида человек.

Но для тех, кто помнит еще Маяковского, образ его ценнее будущих легенд. И хочется снова подчеркнуть его прямолинейность, его верность и отчетливую внутреннюю честность, его деликатность под защитной напускной грубоватостью.

Большие руки сжимают стакан. Маяковский сидит за столом в кафе. Охваченный волнением и беспокойством, я говорю: нужно снимать поэтов для экрана. И не в ролях, а так, как они живут. Представьте, что мы имели бы кадры из жизни Пушкина.

Маяковский пожимает плечами:

— Что интересного? Встаем утром. Чай пьем.

И был он по-своему прав. Ведь только тех, кто целиком жил в сегодняшнем, охотнее всего отыщут завтрашние поколения.

Он был прост, этот большой человек. Прост и очень правдив.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответств. редактор И. Груздев. Технич. ред. А. Кирнарская. Корректор Р. Бекетова. Художник М. Кирнарский.
Леноблгорлит № 1116. С. П.—138/Л. Тираж 10000 экз. Сдано в набор 19/II—1940 г. Подписано к печати 21/III—1940 г. Печ. л. 5. Уч.-изд. л. 5,36. Бум. л. $2^1/_2$. Формат бум. 63×94/$_{32}$. Кол. зн. в 1 бум. л. 90112. Отпечатано в тип. «Лен. Правда», Ленинград, Социалистическая, 14. Заказ № 1514.

2 р. 25 к. Переплет 1 р. 25 к.

3р.50к.